

БИБЛИОТЕКА АЛЬМАНАХА «СЛОВЕСНОСТЬ»

Книжная серия  
«Визитная карточка литератора»

**ВЛАДИМИР ГЛЯНЦ**

**ЧТИВО ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧКИ**  
*(1967-2009)*

Стихи, проза, отзывы на книгу  
Владимира Глянца «Гоголь и апокалипсис»

СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ РОССИИ  
МОСКВА

Вест-Консалтинг  
2011

**В. М. Глянц. Читиво для электрички (1967-2009).**

Стихи, поэма, рассказы, отзывы на книгу В. Глянца «Гоголь и апокалипсис». Предисловие: Дмитрий Цесельчук, подготовка к изданию: Нина Давыдова. М.: Вест-Консалтинг, 2011. – 88 с.

ISBN 5-86676-073-8

*Заказное издание*

Книга выпущена в авторской редакции

- © В. М. Глянц, 2011
- © Юрий Аксенов, фото, 2011
- © Союз литераторов России, идея издания, составление, предисловие, 2011
- © Вест-Консалтинг, оригинал-макет, вёрстка, 2011

## НА ВЫДОХЕ АБЗАЦА

В этот сборник, который можно бы назвать – «За всю жизнь», вошло далеко не все написанное. Жизнь прожита пестрая и со всем не писательская: без массивного письменного стола, без читательской почты и архива. Многие из написанного разметало и унесло ветром, одну тетрадку автор забыл в пивной, другую уговорил подарить ему лечащий врач, третья просто безвозвратно уплыло. У всех, давно знающих автора, какие-то отдельные строчки до сих пор крутятся в памяти. Продукция иных художеств материальна, стихи – нет. Но все же для разговора о них требуют быть перед глазами. А многих – невосполнимо нет. Это кажется дикостью. Будто наш поэт – не современник, а пращур.

Что же перед тобой за сборник, читатель? И мог ли дебют автора состояться раньше? Когда-то очень давно, питая напрасные надежды, автор раза два-три приносил свои писания в журнал «Юность». Стихи всякий раз принимали, но месяца через два присылали с какой-нибудь подобной отпиской: «Ваши стихи, оставленные в портфеле редакции, понравились. Но, учитывая ограниченные возможности журнала, пока напечатаны быть не могут». На словах же, не стесняясь, говорили открытым текстом: «Ну, ты что, не понимаешь? У нас сейчас что на дворе? Правильно – канун 50-летия образования СССР. Как, сам-то подумай, ты можешь выиграть внутренний конкурс? У тебя же стихи – совсем о другом. Уж извини». Ситуация, я думаю, многим авторам горько знакомая. То наше, прежнее общество было официально объявлено «обществом социального оптимизма». Стихи же Глянца и на самом деле о другом. Мироощущение автора – как минимум, драматическое. Сдается мне, что стихи и писались не для печати, в них «останавливалось мгновение», фиксировались какие-то быстролетающие мысли и чувства. Стихи становились дневником внутренней жизни, которая всегда под подозрением и вечно не для печати. Это был род умственной и душевной гигиены, способ самосохранения в агрессивной пропагандистской среде. А пропаганда была в глаза и дула в уши и день и ночь. Очевидно, с какого-то момента автор уже сознательно писал «в стол». Такие стихи хоть и не печатаются, совершают более важное дело, они делают пишущего свободным. Как уже догадался читатель, Владимир Глянец – это еще один представитель параллельной, неофициальной культуры.

Наверняка в этом сборнике читатель встретит и созвучные ему мысли и понятные чувства, сумеет оценить владение словом, местами – хорошую инструментовку и звукопись, поймет, что умеренные яд и едкость, кое-где проливаемые автором, никогда не переходят в злобность. У Глянца почти не встретишь любовного стихотворения. Видно, вокальные данные его

музы располагаются по преимуществу в гражданском регистре. Кому-то некоторая закрытость автора покажется недостаточной искренностью, но это не так. На смену обычной в молодости закрытости приходит зрелая исповедальность. И, наконец, последнее. В этих стихах нет ни одного гимна великим стройкам, но в них, пусть и односторонне, запечатлелось время, время одной конкретной судьбы и, по свойственной поэтам отзывчивости, оттиск совсем недавней и уже такой далекой нашей общей жизни.

Что касается прозы. Ее главная цель – все та же, что и в стихах, погоня за отлетевшими звуками, цветом и запахом времени. Местами это удается до иллюзии, и это самые очаровательные моменты этой прозы. Притом, это не «проза поэта», как несколько уничижительно называют такие опыты, а вполне съедобное кушанье. Желающие могут убедиться.

Другая большая работа Глянца – широко известная книга «Гоголь и апокалипсис». О ней несколько характерных отзывов в самом конце.

**Дмитрий ЦЕСЕЛЬЧУК**

## СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

\* \* \*

...Но голос обрести,  
Но когти и хребет,  
Но шерстью обрасти,  
Ломиться в чащу тигром,  
Мустангом захрапеть...  
Чтобы потом иметь  
Наклонность к тихим играм?..

\* \* \*

Всю ночь стонала крыша  
Под проливным дождем.  
И в утро дверь открывший  
В зеленых ставнях дом,  
На солнечных подпорках  
Стоящий вдалеке,  
На травяном подворье,  
На взгорье, ввысоке, —  
Покажется мне близким,  
И, как в родной войдя,  
Я попрошу в нем миску  
Вчерашнего дождя...

1967 г.

\* \* \*

Пока мне мучиться без сна  
И бесноваться до рассвета  
Пока заламывает веки  
Зеленокрылая весна  
Пока в саду стоит туман  
Невидимый обычным глазом

И воздух капли и дома  
Не вмещает дух и разум  
Вдруг вымещает на песке  
Свою природную кровавость  
Волна реки. И вдалеке  
Звучит протяжно и коряво  
Гудок сосущий низ ребра  
Звучащий низко и оглохло  
Признаться верится так плохо  
Что жизнь продлится до утра  
Так трудно верится так так  
Невероятно животворен  
И жирен тварями как творог  
И воздух и кривой пятак  
Так небо звездами пропахло  
Так остро пахнет старый лист  
Так ярко колется рубаха  
И вид земли настолько чист  
Так сыты и довольны звери  
И ночь на запахи щедра  
Что до утра я вдруг поверю  
В существование добра

1969 г.

\* \* \*

О, миг опусканья письма,  
Похожий на длинную повесть!  
Покуда не поздно – опомнись!  
Безвинна, как одурь со сна,  
Еще несвершенная подлость.

Февраль выходил на круги,  
Шатало прохожих от ветра.  
Бездомно и безответно  
Бумажное тело конверта,  
Как птица, рвалось из руки.

Вот щель! Опустит – пропадешь,  
Как ветер в просторах февральских...

И что же случилось поймешь  
По дрожи в пустеющих пальцах...

1970 г.

## ГУЛ

К ночи умирают звуки,  
Только жив один,  
Через все пространство гулкий –  
Ы-ы-ын.

Ветер, улицу завив поземкой,  
В переулке стих.  
Это где-то в США подземка?  
Или слышно, как Земля летит?

Этот гул космический, колесный  
Изнутри идет, ревет вовне –  
Так орган звучит многоголосый...  
Первый свет безглазый и белесый  
Оживает в скачущем окне.

Гул... То нарастает он, то глохнет,  
То отпустит, то сожмет меня.  
В переулке дребезжанье окон,  
Скорый поезд движется – Земля.

1970 г.

\* \* \*

Какое печальное место –  
Холодный бульвар, как пустырь,  
И в луже вздувается между  
Двумя лепестками пузырь.

Стучат по безлюдной аллее,  
Похоже кибитку влекут

Копыта дождя. И болеют  
Собака, растение, пруд.

Ходи босиком и юродствуй,  
А холодно будет – потей.  
Что вбито в дорогу сиротства –  
Скорбей, расставаний, потерь!..

Дорога-дорога...

Двурога

Луна за кибиткой бежит...  
Куда ты несешься, дорога?  
Куда я несусь по дороге?  
На смерть я родился, на жизнь?

Не сыщешь печальнее места:  
Под черным остывшим мостом,  
Как призрак, как вскрик неуместный –  
Кибитка с продрогшей невестой,  
В обнимку с овчаркой немецкой,  
Колеса с прилипшим листом...

1970 г.

\* \* \*

Лететь так быстро, так спешить,  
Как в октябре стоять в аптеку.  
И вспоминать: спешить – смешить.  
Не подobaет человеку.

А с самолета, с небеси –  
На электричку, в тамбур. Сгорбься,  
Курить, стоять и думать: скоро?  
Скорей бы, что ли! Нет же сил.

Прохожий! Ты меня не тронь!  
К любимой еду на метро.  
Троллейбус-друг, постой, погодь!  
С любимой не видался год.

Спешу – стою, спешу – сижу...  
О, счастье дивное сорваться,  
Бежать ногами, спотыкаться...  
Замок?

О том я не сужу –  
Не ждали – ждали?  
Ждать! Дождаться!  
С тоски все пальцы изломать –  
Дождаться!  
И поцеловать.

1970г.

\* \* \*

Мужчины не спят ночами,  
Электроэнергию жгут,  
Ступая босыми ногами,  
У окон чего-то ждут.

Идея?  
Семейная драма?  
Моление о любви?..  
Прицелом оконной рамы  
Их перекрещены лбы.

1971г.

\* \* \*

*Виктору Кириллову*

Кровь истиной стрельнет в висок,  
Дрожь грянет, пропадет дыханье,  
Возобновится вновь,  
Пойдут кругами слова. И явится во всем  
Чиста и призрачна, как первый признак льда,  
И тая, и тая в себе опасность  
Еще не понимаемая ясность

В предчувствии неблизкого плода.  
Конем крылатым вымахнет рояль,  
Оскалит клавиши, заржет –  
Садись и странствуй  
Туда, где искривляется пространство  
Где родина продолжится моя.

1971 г.

\* \* \*

Тихо все. Лишь лает пес,  
Лает пес добрейший.  
Бьются волны об утес  
Да собака брешет.  
Мало звуков. Только те  
И остались целы,  
Что в невинной простоте  
Не имеют цели.  
Звезды нехотя летят,  
Головами свесясь,  
Месяц тонкого литья  
Понемногу светит.  
Ветка на ветру дрожит,  
Немотой измучась...  
То замрет, то пробежит  
Ветер,  
        говор,  
                участь.

1972 г.

\* \* \*

Я, с веком своим не желавший знаться,  
Не где-нибудь, а в Москве,  
Бежал, эмигрировал в девятнадцатый,  
Ладно бы в год – в век.

Из прошлых веков, из болезней, пьянства –  
Вернуться, как с фронта или того света –  
В этот утренний, голубо-ясный,  
Острый, как лезвие ветра...

И вновь на душе и чисто, и четко.  
Казалось – не будет. Думалось – никогда!  
Бесстыдно–дикие на стыках чечетку  
Отплясывают поезда.

1973 г.

\* \* \*

Мать! Осени знаменьем крестным.  
О сыне вознеси мольбу.  
Святой, похлопochи о грешном:  
Пылают уголья в аду.  
Дымится полынья во льду.  
Предчувствие дыры во лбу,  
Предвиденье смертельной раны...  
На мне прицел оконной рамы –  
Открыли этажи пальбу.  
Я болен, что ли? Погоди  
Вот выбегу в одной рубашке...  
Закату в мякоть угодив,  
Как шприц вонзилась телебашня...

Скрещения путей пусты,  
Багровы очертанья арок.  
Как я такое попустил,  
Что жизни со свечной огарок?  
Полуоплывшая свеча.  
С овчинку – небо.  
И в целом небе ни луча...  
Я жил? Я не был?

У мысли ноги коротки.  
О, спринт инстинкта!  
На ночь признание опрокинь,

Рыдай, пластинка!  
Рыдай о петом, о былом –  
О том, что любим,  
И что под пеплом и быльем  
Незримо людям.

1973г.

\* \* \*

Кошмар ты, жизнь, или корчма,  
Тошна или точна ты –  
Кудрявый крест воткнут торчья  
Над ящиком дощатым.

А что там будет истлевать  
В той душной домовине,  
Того не спеть и не сплясать –  
Суровый мрак, могильный.

Но в утешение скажу  
Всем, кто меня прощает:  
Я там не сплю и не лежу,  
Меня там нет. Ручаюсь!

Где я, буйан и скандалист?  
Пора определиться  
                                Давно прошла.  
Летит мой лист,  
Никак не приземлится.

1973 г.

\* \* \*

У меня стареет отец  
И подрастает сын.  
Сын, слава Богу, обут-одет.  
В его годы отец ходил босым.

Сын отца и отец сына  
Я уже не в начале, еще не в конце.  
Фокус в том, что я в фокусе, посередине,  
Я в разгаре, как лето или концерт.

И пока заряжаюсь от силушки отчей  
Я, натянутый, как арбалет,  
Вдруг выясняется – нет полномочий.  
Забыли суки. Мандата нет.

*1974г.*

\* \* \*

Вслушайтесь! Слышите? Ветер  
Дерево обнял в саду  
И в изголовье, как свечи,  
Одну за другой задул

Звезды.  
Вчерашний скептик  
Он стелет мечты и цветы...  
И дерево нежно светит,  
Как женщина из темноты.

*1974 г.*

\* \* \*

Эх, такая-то жажда,  
Так трещит голова!  
Что двугривенный каждый  
Впору расцеловать...

## **ЖИЗНЬ**

Тени, тени, полутени,  
Вдохновенье, кутежи –

Все Ее хитросплетенье  
Расплети и удержи  
В небольшом стихотворенье...  
Соблюдая падежи.

1976г.

\* \* \*

Перья когда-то квохтавших птиц –  
В наперник.  
Сверху – прохладную, с отсветом нежным,  
голубо-снежным,  
наволочку.  
А в мякоть,  
В эту припухлость – все, что осталось  
от некогда бывших, жадно хватавших,  
нежно квохтавших, крыльями бивших...  
В мягкий провал с голубыми тенями –  
мягкий овал  
и припухлость незрячей щеки.

1974 г.

## **ДЕМОНСТРАЦИЯ**

Воздух наполнен, как мелким стеклом,  
колким кристаллом.  
Ветви деревьев, как крокилюры  
на древней холстине неба.  
Лбом ушибается ветер о Доску Почета  
И так застывает  
синей, изогнутой массой.  
Пруд – абсолютная плоскость – колеблем  
редкою речью.  
Дерево лист отрясает последний  
на дно океана.  
Из-за угла вытекает оркестр, как будто  
вставляют улице в челюсть

круглые, желтые зубы,  
и медленно движется по  
ее осевому пунктиру,  
по самому  
по  
звончику  
Новейшей Истории  
по  
шесть  
в колонну...  
Люди овальные, окна овальны сквозь слезы.  
Кипучая,  
могучая, никем непобедимая...

1978г.

\* \* \*

*Т. Савенок*

В оспинах старого зеркала застыло изображение  
Цветного, далекого дня.  
Дым и чад над горячим асфальтом.  
Вывеска «Ткани» – над магазином,  
И я –  
маленький, жалкий и глупый,  
ожидающий маму,  
Ничего не понимающий,  
кроме, как сказано, «жди»!  
Мир надвигался огромный и страшный  
свирепым трамваем.  
В своей грязно-белой куртке  
недобро ругалась тетка.  
Ниже даже меня, а куда уж ниже!  
катил на тележке дядька,  
Мне, дурачку, на зависть.  
Махоркой и ваксой, и чем-то еще и быстро  
Пахло от мимо идущих солдат. Солдат.  
Подло...  
Враждебно и подло смеялись люди,

Мимо, все мимо и мимо идущие быстро.  
Воняло прокисшим арбузом, и было страшно  
Людей и трамвая, что мама меня потеряет,  
Что в небе заходит сизо-зеленая туча,  
А воздух, окислясь, садится на зубы железом,  
И так далеко-далеко до Ново-Басманной...  
Было противно от маленьких ключьев грязи,  
Катавшихся в слабой и влажной  
детской ладони...  
Не знаю.  
Мама тогда пришла?  
Не помню.

\* \* \*

Вот инструмент – рояль,  
И в нем:  
Все фуги, скерцо и концерты –  
Все скверы, паперти и церкви,  
Все чувства. При луне и днем.

Но сколько грубою рукою  
Ни тычу в черно-белый зев,  
Немотствует рояль, до крови  
Мне пальцы дерзкие объев.

\* \* \*

Я согласен, что хорош  
С белыми воротничками школьник,  
С нуждами его простыми,  
С переполненным метро –  
День.  
Я согласен, что смутна  
С хлорным запахом вокзалов,  
С белым воем неотложек,  
Перевернутых такси –  
Ночь.  
Но отчетливей и злей

Проступают ночью звезды.  
Слезы, жалобы, петля –  
Не утонут в акварели  
Дня.

## **РОЯЛЬ**

Вот вещь, доделанная до конца,  
Усовершенствованная до предела:  
Изгиб классического тела,  
И снизу вверх полет лица.

Полет или побег туда.  
В надидеальное начало...  
Все громче музыка звучала  
И что-нибудь обозначала –  
Плод вдохновенья и труда...

Но все-таки, превыше снов,  
Их плена черно-золотого  
Определенность вскрика злого,  
Отвага слов, кипящих словно,  
Да будут вновь!

26.04.74

\* \* \*

Нам день для разбега,  
А ночь для осмысленья скорости.  
Дневная победа  
Окажется с привкусом горечи...  
Покажутся малы  
Победы и скорости медленны...  
В окне в полнакала  
Затеплятся звезды и медь луны.  
Нам ночь для полета,  
Слепого, но все же полета:  
Стихи и полотна

Вплотную подступят, под лоб нам.  
Под утро верну вам  
Отлитые в гипсе и меди  
Все бури и смерчи,  
Тугие валы океана...  
Все будет как надо,  
Как в музыке, жизни и смерти –  
то «форте» послышится,  
то, исчезая, «пиано».

29.09.74

\* \* \*

Скорострельный пистолет – вял.  
Быстродействующий «мозг» – мал.  
«Жигули» летят в шлейфе брызг,  
Переходят бабки на рысь.  
Марш плетется, еле буцкает джаз,  
Вымирает паровоз, как дилижанс.  
Времени у века в обрез.  
Даже ночью прогрессирует прогресс.

1975г.

\* \* \*

*Владимиру Высоцкому*

Два человека я любил  
Без памяти.  
Один туда уже отбыл –  
Сколотят памятник.  
Один туда уже отбыл,  
Ты, говорят, – оттуда...  
Признание позднее в любви –  
Болезнь, простуда.  
Туда – уже несут цветы,  
Не заживет до свадьбы.  
Пока ни я не умер и ни ты –

Не опоздать бы.  
Клещами дергаю слова,  
Гоню их с губ.  
Разжать. Не то что целовать.  
Прости, что скуп.  
Залить не сможет алкоголь  
Тот бред тех лет, тех бед.  
Зачерпывая нашу боль,  
Кричи, лечи, поэт!  
Не мир приклеенных бород,  
Обветрен, груб он –  
Весь мир в тебя свое орет,  
Как боцман в рупор.  
И черная смогла тоска  
Одеться бело.  
От снега тихого Москва  
Одецибела.

1978г.

\* \* \*

Белый, косматый чудище-снег  
Валит-клубится...  
Сяду ль писать – не могу углубиться.  
Времени нет.  
Слово поманит, речь привлечет,  
Друг постучится –  
Маюсь и слышу неслышимый счет:  
Время сочится.  
Век сумасшедший, капли у век –  
Зубом, губой ли  
рву твоё мясо.  
Я – человек!  
А не убоина.  
Как же вы можете не спеша?  
Как вас хватает на хобби?  
Годы, как пули из ППШ...

1980г.

\* \* \*

Обнять, вместить, от а до я,  
Проникнуть снова  
В одновременность бытия  
Всего живого.

\* \* \*

Какою худобой дышало детство.  
Калоши, каша, рваное кашне,  
Бумажные цветы в междуоконье...

Но в праздник, в день 7-го Ноября,  
Но в красном флаге, у подъезда бьющем,  
Какую тайну обещала жизнь?  
Какое бешеное счастье!  
Какое светлое житье!  
Какое, кое, ое, е...

1981 г.

\* \* \*

В покосившихся домишках,  
В окривевших голубятнях,  
В отсыревших сараюхах  
И в заржавленных полях –

Только ветер, злой да мрачный.  
Только черный дождь колючий.  
Только скрежет электричек,  
Да стальной попутный шлях...

Так и тянет в непогоду  
Промахнуться мимо дома.  
Мимо дома, мимо света,  
Выскобленных половиц.

Пол бутылки тепловатой  
На груди моей зарыто,  
И не надо ни пичужки,  
Ни печурки – сбоку чурки,  
Ни родных и милых лиц.

Раствориться, затеряться  
В сиротеющих просторах,  
И дышать подмокшим дымом  
Паровозов и костров...

Только даль и только ветер,  
Только рельсов повороты...  
Голову упрятав в ворот,  
Под собой не чую ног,  
Мимо! Мимо! Да на вдохе  
Теплого винца глоток.

1983 г.

\* \* \*

*Юрию Аксенову*

Ни себя не уроню, ни звука  
В этой тишине не пророню.  
Пой, кларнет! Лети, музыка! Режь, азбука.  
Под музыку свой талант похороню.  
В желтый глинозем его зарюю  
От своих и посторонних глаз,  
Позасыплю горушкой-горою,  
Выпью с горя, что талант угас.  
Аз хочу так. Не смотрите букой.  
Азбукой морочат, морят, бьют...  
Гроб матерчат, лоб морщинист.  
Скука сукрой завывает. В подворотнях пьют.  
Не востребую таланта, не воскликну:  
Край родимый! Что с тобой? Ответ!  
Где? Когда? Какой такой великий  
Приказал тебе не сметь, не петь?!

Не воскликну, не вскричу, не всплачу,  
К милой старине не припаду...  
Словно друга, старенькую клячу  
Уж не расцелую в поводу.  
Я давно не прост. Я гол, как атом,  
Наг, как наг был праотец Адам.  
Изгнанный из детства в мире этом  
День за днем теряю свой Эдем.  
Дом теряю. Дым, не помню, горек ли?  
Родина! Ты – Русь? СССР?  
От больничных коек, от попоек ли  
Серый снег за окнами просел.  
Помолиться ли? Но в церкви, как в спецхране.  
Русь моя чуть теплится в свечах.  
Боже! – я взрыдаю, – в этом храме  
Обвенчай с Россией, хоть на час!  
Ты отдай все то, что утаили,  
Что недодали соотчикам – верни!  
Всем, кого дурманом опоили,  
Всем, кого зарыли в эти дни.  
Всем, кто не попал и в поминанья,  
Кто не перемог свою беду...

С Родиной на тайное свиданье  
В церковь Твою, Господи, иду.

1983 г.

\* \* \*

Господи, даждь ми сил!  
Сорок пустых лет  
Знание себе копил.  
Смерть собирал, тлен.  
Мусор, щепу, дрязг,  
Мелочность опыта...  
Сорок годков враз  
Отнято, отпето.  
Господи, даждь ми хлеб,

Кров дай и очаг.  
В сорок моих лет  
Вновь я Тобой зачат.  
Господи, даждь ми сил,  
Бывшее отженя.  
Что бы ни попросил –  
Дай! И возьми меня.

1985 г.

\* \* \*

Не страдает ли мир от названья вещей и проспектов,  
От делений и градусов, гирек, пробирок и шкал?  
Не впадаем ли в ересь, когда препарлируем спектр,  
Трансплантируем сердце, планируем ведро и шквал?

Не страдает ли мир, неделимый, единый и мудрый?  
Не коробит ли Истину грубая таска ума?..  
Бьется в окна домов просветленная свежепись утра,  
Расщепленный на ядра до-разумом бредит туман.

\* \* \*

Запойным ветром февраля  
Рвет пламя из печи.  
Поет в трубе, свистит в полях  
Колеблет свет свечи.

Дымит в полях и в проводах,  
Несет за мглою мглу.  
Весну – купанье в трех водах –  
Заждусь в своем углу.

За всех душою изболясь,  
Кто заплутал, продрог,  
Дождусь, что кто-то издаля  
Вдруг встанет на порог.

– Откройте дверь, хозяева! –  
Пришелец позовет.  
– Едва дошел. Я жив едва...  
– Чай, молоко и мед

Давно вас ждут. Входите. Рад  
Вас видеть. Здесь тепло.  
Снимайте шубу, будьте брат...  
Дрожит в окне стекло.

Дрожит по стенам тень моя,

Нескладная, как сон.  
В котором веке прожил я,  
Ловя поддужный звон?

Вот друга ветром нанесет,  
Вот встанет на порог...  
Свистит, пуржит, сбивает с ног,  
Несет, дымит, метет.

24. 03. 1990

\* \* \*

Нескончаемо начинался,  
Как сырые дрова в печи,  
Свет. То рыпался, то истончался  
Шаткий пламень свечи.

В озерце оплавленного воска,  
Навевая покой и довольство,  
Черным лебедем гнулся фитиль,  
Образуя доверье и стиль.

Крепость стен упрочалась без войска.  
Мир царил. Холодильник молчал.  
Я ценю эти тихие свойства  
И немного в ночи приторчал.



Ты с другом на пару цигарка –  
Таганка – подружка, товарка.  
В браслетах и бусах цыганка,  
Володи Высоцкого «Банька»...  
Ты сердцу – чекушка?

Чеканка!

Ты нас закружила. Табань-ка!

9.11.93

\* \* \*

Я не владею русским языком,  
Скорее это он мной обладает,  
И потому молчанье мой закон.  
Молчу с ошибками.  
И губы под замком.

\* \* \*

О, как ты невелик, мой беловик!  
Как энергичен, скромн, деловит.  
Имеешь ты к тому ж ту добродетель,  
Что автор твой не больно плодовит.

\* \* \*

Когда писать садишься, экономя,  
Будь скарред и скупец, будь скопидом!  
Бесценных слов транжир все промотает,  
Чем изъясняться будем мы потом?

06.10.94

\* \* \*

Глядит в прореху одеяла месяц,  
Оттуда пятка твоя черная торчит.



Сыро. Тошно.  
Сорван лист и унесен.  
Хор приборов водосточных  
Закартавит в унисон.  
Жизнь меня не обманула.  
Пуст стакан, что был налит.  
Время радости минуло.  
Если можешь – помолись.

10.10.95

\* \* \*

Приходит время на карачки  
Вставать, и боком и ползком  
Просачиваться. Жить домком.  
Ходить леском, дышать дымком –  
Все это белая горячка,  
Со мной идущая тайком.

1.11.95

\* \* \*

Ночью не выдержу больше, спрошу я Луну:  
Чего тебе надо?  
Что ты там роешься в полой моей голове?  
И добавлю:  
Вдумайся, право,  
Что станет со мной, когда ты вольешься  
В испытый тобою мой череп? Чрезмерность  
Твою я вряд ли снесу на плечах.  
Стать фонарем – никогда не мечтал я ни сдуру,  
ни спяну.  
Голуболобая лгунья, неужто мой череп  
Мнишь ты взорвать? Учти, я не верю,  
Будто уже и исполнились сроки терпения Божья.  
Грешен и каюсь. Молю всех обиженных мною:  
Простите!  
Кои-то сутки не спать и не спать выше сил мне!

Вскользь посмотрел на обидчицу – гаже войны  
ее рож.  
И перекрестил ее слабой рукою своею, и тотчас  
Лопнул тот обруч, что череп давил мне тисками...  
И встречу –  
Как тыква у швейцара в галунах –  
Луна...

*09.07.98. Полнолуние*

\* \* \*

*Б. Новикову*

Собака играет бутылкой.  
Бомжатица, а весела.  
А женщина сыплет опилки,  
В невзрачном халате, а пыл-то,  
Как будто сейчас от стола.  
Кургузенькая, косолапит,  
А тоже под вечер ее  
Какой-нибудь Вася облапит  
И, может быть, даже тае...  
Толпа у метро кипятится,  
В нее мне и надо вращать,  
Дабы под землей очутиться  
И лица москвичек листать.  
Ах, наше метро – Под-московье,  
Хоть здесь не отыщешь грибов,  
В огромном его бестолковыи  
Доеду до Чистых прудов.  
От бронзы седой Грибоеда  
Я столько протопал дорог...

Дойду, доползу и доеду  
До Красных исходных ворот.

1999

## ПЕСЕНКА

Засыпаны дома, занесены пороги.  
По грудь в снегах леса и запорошен сад  
Все – дома. Ни следа на голубой дороге.  
Все дома и пути отрезаны назад.

Из той зимы никто обратный путь не торит.  
Ушла в снега страна, как древний Китеж-град.  
И дым большой зимы мне сладостен и горек.  
Все – дома, и пути отрезаны назад.

Поленница полна, в амбарах горы хлеба.  
В бочонках мед кипит, и вялится осетр.  
Я не был там давно. Я там недавно не был.  
Хорошая страна. Там есть для жизни все.

Здесь русский Бог укрыл и Дева Пресвятая  
Работников своих – любимый мой народ.  
И замело пути. Сюда никто не знает  
Ни близких, ни кружных ни тропок, ни дорог.

*Февр. 2000 г.*

\* \* \*

*В. Былинкину*

Из города Климовска парень не едет,  
Из города Климовска нет новостей.  
Уж месяц луной обернулся на небе –  
Не едет, а нету причины простей.

Обиделся парень, обиделся хворый,  
И не с кем о джазе промолвить словцо.  
Я думал, что Климовск без горок, но город,  
А он оказался с большой тухлецей.

Подобно репью он вцепился в Витюху.  
Волшебник недобрый и злой чародей.

И льет по стаканам портвейн да сивуху,  
Не хочешь, а пей до зеленых мудей.  
В большом мегаполисе сельди играли.  
Их стаи носились, метали икру.  
Завистник игре их нашелся едва ли.  
А дружба, что ж дружба?  
Никто здесь не дру...  
Я вспомнил о друге, когда затявалась  
За окнами кухни большая мятель.  
Нясло и мяло. На глазах заголялось  
Блядво в мерседесах, пустела панель.

А в мире большом, где нескладица правит,  
Желанный наркоз отливает свинцом.  
И весело знать, что нас скоро отравят, ...  
Присыпят снежком  
А не балуй винцом!  
Бледнеют легенды, как мел стали щеки.  
Алтын за подкладкой – ни се и ни то.  
Да кто ж это, право?  
Глаза, словно щелки.  
Вгляделся получше: Да это – Виктор!

Звенела гитара.  
Звонила Тамара:  
Борис не кумится с зеленой тоской.  
Ах, россыпи роцц! Переборы тумана...  
И вот тебе Климовск –  
Сейчас за Москвой!

*Янв. 2003*

## **ВОСПОМИНАНИЕ**

Каким казался плохо освещенным  
Кремлевский храм с провалами теней.  
Каким недетским местом на земле,  
Каким суровым...  
Веселую экскурсия должна быть,  
А на худой конец – таинственной, да-да!

Здесь так антинаучно...

Планетарий

Огромный, чист, имеет в чреве пушку,  
Выслеживает звезды в близком небе,  
Которое компактно поместилось на сводах,  
Как на крышке табакерки.

А храм пугал меня, тревожил. В детских грезах  
Мне часто представлялся, подавляя  
Всем золотом резьбы, икон, металла,  
Многообразием бликов и теней,  
В фальшивой позе мнимого музея  
Стоящий, как остывший паровоз,  
Без дыма ладана, без пенья алиллуйи,  
Без Литургии.

Собственность парторгов...

Как будто кто-то здесь и вправду был замучен,  
Не Сам ли Бог?.. Хранили своды тайну...

И Сталин...

Господи! Не к ночи будь помянут.  
...сюда в бессоницу, должно быть, приходил  
На царском месте посидеть в безмолвьи,  
И зная, что нельзя, да кто увидит?  
Здесь пару трубок выкурить.  
В нем дьякон  
Не засыпал и все хотел кадить.

Бывало, поутру румяная охрана  
Его над «Фаустом» застанет на ступеньках,  
Изжелта-серого, и быстро волокут  
Наверх, в казенные апартаменты.

Там жидкий чай с шиповником – и спать...

Да что там,  
протодьяконом мог стать.

*11 июля. 1999г.*

## ПРИ ВЗГЛЯДЕ НА КАРТИНУ ИЛЬИ ГЛАЗУНОВА «МИСТЕРИИ – XX ВЕК»

...Там Сталин лежит на пурпурном ложе.  
Алы, багровы  
рюши гроба.  
На пурпурном ложе, как в некоей ложе,  
Как в спекшейся луже загубленной крови.  
Алы погромы, параши, роботы.  
Исчадие ада. Почил в сатане.  
В красном сатине лежит на спине.

14.09.88

\* \* \*

*Ив. Ш.*

Не сакля мудреца и не дворец набоба –  
Смиренная деревня Починки.  
Пройдет коза, затыкают щенки,  
Все прочее возложено на Бога.

Не пахан клин, но прорези морщин –  
Сей мысли спутники – чело избороздили...  
Кто есть Сократ? Большой-большой мужчин.  
Он, древле бывый, снова ходит по России,  
Фамилию, естественно, сменив,  
Не суть, что инженер, а главное, что – Главный.  
Все мыслю своей осеменив,  
Он семя не таит, он сеятель исправный...

Прости, Иване, тромб мой мозговой.  
Уж скоро час ты правоту темяшишь.  
Несется из окна дух шашлыков дымящих  
(Там в холодке и водки чуть не ящик)  
Томлюсь или беседую с тобой

Не знаю сам. Не клиницист я, друг.  
Ужели вновь напрасны сны и удаль?

А в небе вновь пойдёт луна на убыль,  
Не разрываемый сомкнется снова круг?

Что было пылом, даром, жаром вновь  
В немых пространствах просифонит паром?..  
Э, нет, Иване! Было то недаром,  
Что кипятило кровь.

05.08.03

## **ДЖАЗОВОЕ**

*Художнику и барабанщику Владимиру Назарову,  
при воспоминании о его мегаакварели с Папой Сачмо*

Как у белого рояля белый бок,  
Как за белым за роялем черный бог.  
Это Оскар или Дюк, а может, Каунт?  
Только в деку, только в доску музыкант.

Что за сочные аккорды он берет!  
Это – слева. Ну, а справа стружку вьет.  
Инда бабочки слетают с черных рук,  
Орхидеи вышивают бедный луг.

Дикий луг преобразают в чудный парк –  
Это Паркер, как садовник, или Арт?  
Каунт Бейси, Бейси Каунт, весь седой,  
Он шиповник подстригает в си-бемоль.

Я любил бы виртуозную игру,  
Это ж русской соответствует езде...  
Кто там мечет слишком мелкую икру?  
Много звуков – мало мыслей и т. д.

Оскар Питерсон, Вы в самом деле мэтр.  
Сколько клавишей в секунду – целый метр!..  
Каунт Бейси, себе что-то проворчав,  
Ткнул два раза.  
Не любитель расточать...

О, как Питерсон мне близок и далек!  
Он нашаривает лапой педалье.  
Сыпь, намыливай, наяривай и жарь,  
В день когда мы погребаем дивный жанр.

Вдруг припомню, что давно когда-то он  
В Орлеане зародился с...  
похорон.  
Ты о тризне говорить мне погоди  
А для свинга полстакана накати...

### **ИЗ АБОТО ЕНСЭ**

В прорези глаз рекламы –  
Другие глаза.  
Чаще говори себе о мифичности дьявола.

\* \* \*

Каждым своим вздохом  
Обязаны Богу – и я, и ты.  
Но ты смеешься над рабством моим у Него,  
Расходуя слишком много воздуха.  
Я же, помня о детях, дышу экономно.

\* \* \*

Время не только гринвичское, можно узнать по ним,  
Но даже  
Лабиринтное время белены и кокаина – любое.  
«Роллексы» –  
Стрелка на циферблате времен последних.

\* \* \*

Чтобы... впрочем, об этом – потом.  
Надо забыть обо всем,

И трудиться, трудиться,  
Рано вставать, поздно ложиться.  
Трудиться.  
Чтобы уж ахнуло наверняка.

\* \* \*

Помнишь те давние годы,  
Когда мы следили цветение сливы?..  
Немного потели стекла, но в общем  
Противогазе не место большим обидам.  
Звенели цикады.

\* \* \*

Заметил? Немного гуляет размер –  
Открой кислородный вентиль!  
Что значит – забыли, не запаслись!  
Ведь речь не о хлебе, раззявы!

\* \* \*

Я говорю: приоткрой кислородный вентиль!  
А прежде,  
В старые годы деды говорили:  
Открой, братец, фортку, будь ласка!..  
Вот наша жизнь –  
Вечно вперед стремится.

\* \* \*

В споре о красоте женского лица  
Легко побеждает  
Противогаз индивидуального дизайна.  
И – нет некрасивых.

\* \* \*

Как хорошо смеялся последний,  
Пока был последним.  
Я подошел, движимый любопытством,  
И все испортил...

\* \* \*

«Не верю!» – вскричал интеллигент и родился.

\* \* \*

Если и не воплотился пока он, то все же  
Как никогда близок к тому.  
Под копирку  
Сны и кошмары  
Пишущей братьи, рисующей братьи.  
Что ж говорить про кино...

*Перевел с японского Вл. Глянц*

\* \* \*

Обидных слов, которыми кидаюсь,  
Тех слов, что злую тьму вокруг поят,  
Зачем фальшивым смехом, как китаец,  
Размазываю суть и петый яд?

Кто прожил так, все нежное калеча,  
Тот вздрагивает от простых причин,  
Но не вернуть ни слова этой речи.  
Кричи!

Подозревал. В венки сплетал клеветы.  
И в красноречье черное впадал.  
Какой из ям побрезговал, кюветом?  
И с падшею какой не переспал?..

Безволен был и слаб, но на слабейших,  
Которых сладостно последними считать,  
Обрушивался бешенством из бешенств...  
Забывать, списать?

Есть доброму отцу опора в сыне,  
Безумному, как я, не знать наград.  
И ранам совести – огонь неугасимый  
Готовит ад.

И все-таки,  
                                прошу Тебя, Отец!  
Прости меня и сродных мне овец  
За то, что мысль слаба, а ум не плачет.  
За чувств бескрылость –  
                                не летят, хоть кричат.  
За прожиганье веры в дым словес...  
Я был гордец? Хитрец?  
Прости, Отец!

13.05.05

\* \* \*

Дождь слепо бусинит, а липа фимиамит,  
Дымит себе, курит, вплетая ладан в чад,  
Когда шумит – щемит, а ввечеру изранит,  
Бездонными сотмит глаза простых девчат.

Июльский вечерок. Плывут из окон блюзы.  
Под окнами мангал разводит человек.  
Включили свет в Москве. И тысячи иллюзий,  
Отбрасывая тень, пошли искать ночлег.

## МИНУС ГАЛЕРЕЯ

*В.Варшавскому*

Тюбик с заключенным в нем шедевром  
обаятельней законченной картины.  
И музейным снам, оцепенению  
он пластично противолежит.  
Все возможность в нем: все будущие трели,  
Пляс оттенков, казачок мазка...  
Век бы покупал такие вещи.  
Нежно складывал, умильно созерцал.  
Бросил пить, чтоб и по пьяной дури  
Не предать блажному поруганию  
Стронциановку, густой ультрамарин...

Ну а этому?.. Чего тебе нейметя?  
Я все брось, одним тобой займись!  
Что забыл ты в гениях, младенец?  
Ты простых не ведаешь начал.  
Выдави кармина на картину –  
Изведешься, с кем его венчать?  
Лучше, право, закупать картоны,  
Страсть к письму грунтовкой замещать,  
Нет, ты, вишь, подай ему палитру!  
На, держи! Но вот что надо знать:  
Чем потом скулить, опохмеляться,  
Лаяться, на серого валить –  
Вот теперь, сегодня, в этот вечер  
Лучше, брат, на тюбик не давить.

*Март 2005*

\* \* \*

Рослых кленов просторечье,  
Ранней осени мазки...  
С чем сравню Замоскворечье –  
С трепетной свечой Москвы?

С ноздреватым караваем,  
Свежеструганной доской?..  
Все – лабазы да сараи  
День-деньской.

Невеликие купчишки  
И солидные купцы –  
Что же зря таить –  
Все заначки и кубышки,  
Все начала и концы  
По-за-пря-тали.

Покривили переулки,  
Погорбатели мосты...  
Не залетывают утки  
С белокаменной Москвы.

Дикость. Лучик не пробился,  
Коль историки не лгут...  
Как же тут Шмелев родился,  
Чехов как томился тут?

А поди ж ты. Из-под спуда,  
Из-под тех больших перин  
Наши лихость, ум да удаль,  
И язык – мой властелин...

*октябрь 2004*

\* \* \*

Не дав тебе собрать  
Немного мелочишки,  
Тебя прогнал собрат,  
Свистели вслед мальчишки.

Уж слишком ты вонял  
Беду и злосчастьем,  
И потому участия  
Ни в ком не вызывал.

Он крепок и силен,  
И хорошо покушал,  
А ты, насквозь солен,  
Потопаешь по лужам

Куда-нибудь к метро...  
Лишь в том его забота,  
Чтоб не пятнал собора  
Невзрачный твой хитон.

За драное пальто  
Прогнал тебя от Бога...  
А ты совсем не то,  
Ты – русская свобода.

*09.10.04*

\* \* \*

Звенящие косы в покосах,  
Да дальняя песня косца,  
Да легкая торба, да посох,  
Дорога-мираж без конца.

Да с ближней к тебе колокольни  
Послышится меди удар,  
И, долго на воздухе полнясь,  
Истает, потратясь на даль.

И колокол, видишь ли, тоже,  
Как ни был бы смел и матер,  
Всем родственной мыслью не может,  
Наполнить наш русский простор.

Во всем разуверься, набычась,  
Склоняя кощунственно мать,  
За чем мы погнались? Обычай  
Недобрый, чужой занимать?

Такие пошли перекоры –  
Ни слова об общей судьбе!  
Что ж будет?..

Покорных покормят,  
Веселых прислонят к стене.

15.05.05

## РАЗГОВОР ГЛУХОНЕМЫХ

Нервны, выпрыгнут как зайцы  
И пойдут кружить вокруг  
Полукольца гибких пальцев  
Объясняющихся рук.  
Да на выдохе абзаца –  
Взора взорванного круг.

Разговор, но не звучащий.  
Диалог, но без фонем,  
Весь издерганно свистящий –  
Глух и нем.

В нем октавятся накалы –  
Тетива, стрела, курок...  
То – не знающий вокала  
Балетмейстера урок.

Как же так? Из бессловесных  
Что-нибудь пролепетать  
К месту, резко, интересно  
Может даже лебеда.

Не испанец,  
я в испанском  
что-нибудь да разберу...  
Что же значат эти пасы,  
Пантомимы и гримасы,  
Где все тайны на миру?

Ничего не понимаю,  
Жест отчаянно ловлю,  
Может ярость означает:  
Милый, я тебя люблю?..

Мы битком набиты в транспорт.  
В зыбке дремотной езды  
Удивительный и страстный,  
Надо мной кипит язык.

*15.10.05*

\* \* \*

Как скромно мы живем!  
Какие мы скромняги!  
Мы то подчас жуем,  
Что не подашь бродяге.  
Как сладко не иметь  
Деньги подкожной жира,  
Но широко смотреть  
И видеть краски мира.  
И в то же время мир  
Не ставить ни в статир.  
Как трудно нищетой  
Своей не величаться!  
Быть в груди щеп щепой.  
Ничем не выделяться.  
У Бога – Боже мой! –  
Сим малым называться.

*30.05.05*

\* \* \*

О чем железом пророкочет,  
Лицеприятия лишен, –  
Пророк?  
Того, что зрит, не хочет

Он незапятнанной душой.  
Не ведает того, не знает,  
Не может ясно толковать.  
Собака не залает злая,  
Глухарь не станет токовать,  
Когда речет благоуханный  
Провидец тайн,  
И, видит Бог,  
Прибор, подключенный к дыханию,  
Зашкалил бы, а кардиограф – сдох.  
Бог – сверхъестествен. Вне законов  
Его высокое чело.  
Он недостойных удостоит  
И мир создаст из ничего.  
27.06.05

## **СВЕТ ДЕТСТВА**

Был нежным свет? Наверно.  
Был хрупким? Нет – не то.  
Но не давил на нервы.  
Был желтым, как желток.  
В пивной и бакалейной  
Точили лампы свет.  
Калека поколенный  
Ронял из кружки след.  
В пивной тепло и дружно.  
И люд и инвалид  
По соточке, по кружке  
Вольют – и не болит –  
Под килечку, под хлебец,  
Под разговор о том,  
Как хаживал к нам немец  
И как утек потом.  
А до чего ж был сладок  
Тот хлеб после войны!  
К нему имею слабость  
До нынешней поры.

Мой собутыльник – Ваня.  
Иван, Иван, Иван.  
Из бронзы ли изваян,  
Иль по–простому пьян?  
Я млад, я желторотый,  
Он – взрослый, фронтовик.  
Но скорешились вроде,  
Залив за воротник.  
Все сказано по-честному  
В прокуренной пивной.  
Еще пока все вместе мы  
Под крышею одной.  
Но тают папироски,  
Худеет «Северок».  
И вот уже поврозь мы.  
Идем на ветерок.  
Пред нами мир лоскутный  
И возжена луна,  
И кутается в куцый  
Платок его жена.  
Ничем не обещаясь, –  
– Пока?

– Пока, пока...

Я с легкостью прощаюсь.  
Холера мне в бока!  
Я ничего не чую,  
К своей рубашке льну.  
Я не живу – кочую  
И где хочу, ночую,  
Напропалую лгу.  
Я легок, пуст, как пусты  
Два выпитых яйца...  
А грузный мой попутчик  
Идет, кача-ется.

Вдруг женский вопль: Ваня!  
И кровь из мужика...  
И на лице трамвая –  
Кровавых два желтка.

*Январь. 2008*

\* \* \*

В колодки, в карцер, под замок,  
За два засова  
Упрячут дух, чтоб изнемог,  
И смолкло Слово.  
Перо отнимут и тетрадь,  
Нашлют недуги...  
Не ройте землю, чтоб удрать.  
Свобода – в духе.  
Сокамерник или собрат –  
За всех виновник,  
Ответь, зачем не пил обрат?  
Почто в вино вник?  
Молись! И тем готовь подкоп.  
Три пальца – в щепоть.  
Не сдюжит крик – закон таков –  
Что может шепот.  
Вчера глумился полицай,  
Теперь –таится.  
Темна светлица подлеца...  
Зато у Сына и Отца  
Светло в темнице.

1.08.05

## **МАРТ**

Был март в конце, проваливался снег,  
И спину в телогрейке грело солнце,  
И было мне видать в свое оконце,  
Что смерть светила.

Допито до донца.

И потому так ненадежен свет.  
Я зебрами берез рябящий март  
И работающую и верную присяге  
Природу полюбил, вальсирующих птиц,  
Галдящих и ликующих зачем-то.

Что праздновать? О чем здесь ликовать?  
Чем ослепляться в этом мире сиром?  
И петь? Носиться? Боже мой, вальсировать?  
Как надо мысль свою привычкой оковать!  
И щебетать, тем боле – куковать...  
Да просто – серо. Много сора. Сыро.  
Но те пернатые в мой вечный пессимизм  
Вплетали столь затейливые трели  
О том, что хорошо! Что не до тризн!  
Крылом подать – и мы уже в апреле!  
И хоть не труп здесь вытаял, но все ж  
Лежало все старье в большом разгроме...  
Хотел я март воспеть, но был тогда в дурдоме...

Ты в воскресенье, милая, ко мне придешь?..

24.02.08

\* \* \*

Как дервиш одетую в рухлядь,  
На голую кость – в парике,  
Всему, что люблю я, поруху  
Несущую в грозной руке, –  
Стоглаву, столику, сторуку,  
Стригущую люд как жнивье,  
Босую, косую старуху  
Однажды я видел живьем.  
В своей театральной рванине  
(Не взятой ли где напрокат?)  
Она ко мне шла по равнине  
Без зова, а так – наугад.  
Походка – бесстыжая поступь,  
Не в «топ» ли «модели» игра?  
Как рельсы на стыках, так кости  
Стучали в районе бедра  
О том, что нам всем на погосты  
«Пора, брат, пора, брат, пора!»

06.11.07



\* \* \*

*ВЛГ*

...Но был бы я и мелочен, и грешен,  
Когда б смолчал – но камни возопят –  
Про магнетизм, про пару глаз черкешенских,  
Во тьме которых – рай, а может – ад?  
Та девочка далекая поруху  
Несла в себе. В ней колебался зной.  
Взгляд-молния...  
Раскат... И горы трупов,  
И полуобгорелый – это мой.  
В том увлеченья нет, как нет описки.  
Мой прокурор на строгий суд орал:  
«Червонец ей! Без права переписки»,  
А суд присяжных, плюнув, оправдал.  
Не вся ль вина в таком отливе кожи –  
Лимон под пеплом? У кого не кровь  
В артах – магма.

Плачь, что не такой же.  
Но плачь не плачь, а только прочь любовь!  
А только до видzenia, до свиданья!  
Жизнь – желтый поезд осени, лети,  
Как за окном проносятся, рыдая,  
Промокшие пригорки и плетни...  
Не рано ли подростку надираться  
Целить вином страдания свои?..  
Запомнилось: зеленый май, Абрамцево.  
И взгляды – вялые его, огонь – твоих...

22.03.05

## **ОДА НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ЗУБА**

И день, и ночь мой зуб саднит.  
И день, и ночь еще.  
Он рифму, гад, мою беднит,  
Вспухая из-за щек.  
Средь умственных моих пустот

Садист в мозгу живет.  
Ни чай не лезет, ни кусок  
В мой опаленный рот.  
Незванный гость, не зуб, а гвоздь,  
забитый в мою кость...  
Его б я вырвал на авось –  
Так не болел б небось.  
Вселенная, чей нрав колюч,  
Всегда бежала прочь, –  
Попятясь вдруг, собралась в луч, –  
Хоть череп раскурочь.  
Есть символ ада эта боль,  
И надо бы решить  
Что это – гнев Небес? юдоль?  
Терпеть иль потрошить?  
Возможет ли прижечь люголь  
То что не боль, а Гнев?..  
Способна лишь твоя любовь  
Уврачевать сей нерв.

## **ДОЖДЬ – ЖЕРЕБЕЦ**

(поэма)

*М. К.*

Швырял он в окна шалою листвою,  
Скрипел в сенях, дробил в пустые ведра!..  
Плакат с доски не смыт, а с мясом содран –  
стеною дождь над стонущей Москвой.

Стой! Не беги! Нам впору уже плыть.  
Смешно пловцу иметь сухое платье.  
Одним дождем мы мечены, как братья,  
насколько братом дева может быть.

Копытят город тысячи копыт.  
Сбежав от тучи-матери жеребой,  
дождь рушится на крыши и железом  
грохочет, и в котлах дворов кипит.

Он падает на головы сплошной  
без объявлений, прав и документов.  
Когда б он был дождем аплодисментов,  
ему бы не пеняли – затяжной.

Каков шалун! Без ведома властей!  
Вот припустил, вот вновь законопатил.  
Свободный – сам себе законодатель,  
на лица не взирая – до костей!

Не страшно ли тебе, названный брат?  
Что зонт? И под зонтом тебя, хоть выжми...  
Из-под зонта два серых глаза вышли,  
два зайца серых, кто во что горазд.

Послушай-ка! Здесь недалеко есть  
скрипучий дом за завесью акаций.  
Он суховат немного, но признаться,  
приняв двух рыб, он сделал бы им честь.

Мой дом не признает, – я продолжал, –  
оков шелков. Ему хозяйка снится,  
чтобы была закройщицей по ситцам,  
чтобы по стенам ситец побежал.

Так и вошли в мой никаковский быт  
пугливый взгляд, осечки, недомолвки.

– Где учишься?

– Пока я не намокла,  
училась... – и запнулась. Может быть,

хотела пену взбить? Так это не беда.

Зовись себе на радость, хоть актрисой.

Качай ногой, шмурыгай носом, прыскай.

Рубаха вот сухая. Вот – еда.

– ...на маникюршу, – взгляд был волоок,  
с косинкой небольшой, с избытком влаги...

– На, от простуды потяни из фляги,  
не более глотка. Один глоток.

Глоток ли основанье положил,

но только взгляд твой просиял из тучи,

щека взялась румянцем. Прежде, мучась,

Твой организм дрожащий еле жил.

Теперь пошла губерния писать.

Не знал я, что такое сам же вспрыснул:  
изгиб бедра, излом ключиц капризный...

Кошачья грация, – хотел бы я сказать, –

но и в звериной шкуре, и актрисам  
нисходит ли такая благодать?

Как вам сказать? Она была в поре,

когда берет природа передышку,

и отойдя, любитесь: как вышло?

И убеждается, что все пока, хоре.

Увидела картину на стене,

скосила серый глаз и, нос наморщив,

спросила: – Вы – художник?

– Где-то, в общем...  
беру заказы, езжу по стране.  
– А Ваш камин... Он часом не макет?  
Там дождь большой, и было бы уютно...  
Каприз – приказ. И вот дрова поют нам,  
обвалянные в пепле, как в муке.

Ах, до чего хорош и дух и пыл  
Стреляющей из пламени березы!..  
Невинность не смущается вопросом,  
Кто до нее хозяйкою здесь был.

Обнятая покоем и теплом,  
В кулак упершись нежным подбородком,  
Ты задремала. Угольком коротким  
Я набросал головку и наклон.  
Текло по стеклам жидкое стекло,  
Как в оны дни в витринах овощного...  
И лопался пузырь, и вновь, и снова  
Струилось, лило, рушилось, текло.

Я выскочил, пока ты спишь, в киоск.  
Все что на мне подсохло, вмиг прилипло.  
Не земноводный я, и роль реликта  
Не очень-то мне свойственна небось.

Чихая и бранясь, вернулся в дом,  
И тонкой болью был пронзен навывлет.  
Почудилось, дрова в камине взвыли  
В огромном доме, без тебя пустом.

«Я с вами здесь навеки остаюсь  
Рисунком этим, мне польстившим мило.  
Закройщицей по ситцам стать не в силах,  
Тону в слезах и потому – смеюсь.  
Я, может быть, еще, как Наутилус,  
Из этих слез всплыву и Вам приснюсь».

Как мог я, дурень, так попасть впросак?  
Как эти ситцы на язык всползли мне?

Поверил, нехристь, верою козлиной,  
Что из простых и впрямь.  
Болван! Простак!  
«Ведь ты, – подумал, – старое бревно,  
Отечески нахмуривая брови,  
Против отца, что родствен ей по крови,  
Лукавишь и актерствуешь дрянно».

Есть приказная логика почти,  
Межполовые косные законы.  
Разливу чувств неведомы препоны,  
Есть в доброй воле подлые толчки.

Все – к лучшему?..

Но страсть как хороша!

Быть рядом и смотреть уже корыстно.  
Свежа как некогда курсистки, как хористка...  
При барышне такой – сам в барышах.

Как глиссеры неслись автомобили.  
Чуть тронулся трамвай, в жемчужной пыли,  
Предчувствуя депо или причал.  
Зачем и что я догонял, зачем кричал:  
– Эй, кто-нибудь! Ограбили, убили!..

Когда б не дождь крепчал, не пасынок кобылий –  
Лукавый сводник, а мороз крепчал,  
Тогда б людей и видов изобилье –  
Все, что плывет теперь в жемчужной пыли,  
Как запотевший «Хванчкары» бокал,  
Тогда бы все божественно застыли.  
Вдруг замерли, о прежнем позабыли...  
Тогда б, дистанцию от боли и до были  
Враз перепрыгнув, я не одичал  
И врал бы дальше в том гравюрном стиле,  
Что так изящно вам наобещал.

**P. S.** Читатель-друг, давай с тобой повоем:  
С надуманным изяществом порвав,  
Я остаюсь на той большой помойке,

Где отродясь имею больше прав.  
Сараи и канавы, подзаборья –  
В той стороне свои дожди идут,  
Там пиво – в розлив, водочка – забориста,  
С жратвой похуже, но вернее ждут.  
Диспетчеры составы формируют  
И ночь взрывают фразой приказной.  
Иду к таксистам с тощею казной –  
Они в ночи водчонкой озоруют.  
Дождь третий день. Ботинки промокашкой.  
Ну где ж он, мне назначенный таксист?  
Бьет в грудь мою не стих – обычный кашель.  
Я без вина и водки не речист.  
Налейте! Не узнаете меня.  
Я буду вдохновенен, как аптекарь.

Дождь третий день. Тома в библиотеке,  
Превысив норму влажности, томят.  
Но что там Слово? Тощий маскарад  
Пошедшей на сожительство Культуры?..  
У нас костры – горит макулатура.  
Шедевры? Хорошо они горят...

*09.05 – 11.08*

## РАССКАЗЫ

### ДЫХАНИЕ ЧЕЙН-СТОКСА

Меня принимали в пионеры в траурном зале музея В. И. Ленина. Организаторы, видимо, думали создать обстановку наибольшей торжественности, вместо этого все заливал страх. Смерть в этом возрасте представлялась мне мрачной пугающей тайной. Как только я увидел склоненные знамена с повязанными на древках огромными траурными бантами, я словно ослеп.

Смерть здесь так сгустилась, что я боялся слишком глубоко вдыхать воздух, опасаясь почувствовать запах сами знаете чего. Какой-то непривычный запах здесь и так был, но я его специально недонюхивал. Кажется, там были венки, сильно увеличенные фотокопии газетных бюллетеней с жирными траурными рамками, одного вида которых я ужасался, фотографии с неизбежным гробом. Я говорю «кажется» не потому, что плохо помню, а потому что нарочно недосматривал (как недонюхивал), не доразглядывал того пугающе-опасного, что нас так плотно окружало в этом зале. Я буквально боялся прямо взглянуть и потому все время смотрел в пол. Я был убежден, что смерть может быть заразной, как болезнь, и по капле просочиться в тебя через что угодно: через зрение, кожу, дыхание.

В зале было скоплено какое-то невероятное количество доказательств того, что Ленин действительно когда-то умер. А ну, как из этой кучи выпрыгнет и сам мертвец. Нет, Ленин живой был хороший, с этим я не спорю, и детей любил, но вот мертвый Ленин как себя поведет, кто его знает? Мертвяк есть мертвяк. Ребята все до одного тоже были подавлены. К тому же прибавился мандраж позабыть слова клятвы. Обстановка была нечеловечески строгая. До такой степени, что сам факт принятия в пионеры, произнесение слов клятвы, повязывание галстука, – совершенно не запомнились. Запомнилось, что уже на улице, мы все шли нараспашку, выхваляясь новыми пионерскими галстуками...

Смерть Ленина всегда понемногу оживала зимой. Это было ее обычное время. В чудесные зимние вечера, особенно с поземкой или вьюгой, смерть Ленина нет-нет да и постучит в заледенелое окошко. Но то был не страшный стук, так как смерти Ленина было уже немало лет. Ей, может быть, и самой предстояло скоро умереть. Я слушал этот стук, как обычно, краем уха, не отрываясь от альбома, кисточки и красок. Смерть Ленина была наподобие Снежной Королевы, только Королева была куда сильнее и опасней.

В эти мирные вечера можно было даже слегка так, не совсем серьезно задаться вопросом: а ты бы отдал жизнь за товарища Ленина? И так же не совсем серьезно ответить: да, то есть, нет, то есть, конечно же... Но где-то там, все равно зналось, что ответ не совсем честный. И это тоже вызывало какое-то слабаразбавленное, не смертельное отравление от собственного какого-то неблагородства и недостатка жертвенности.

Ведь почему не хотелось умирать в свои неполные восемь лет? Потому что скоро ученые додумаются до бессмертия, и жалко тогда будет своей единственной жизни, а Ленин все равно уже умер и уж должен был бы привыкнуть к смерти. В одной фантастической книжке, мне ее Колян дал, я вычитал, что там одного, в общем, героя, что ли? я не помню точно, ну в общем за какие-то там таки-и-и-е заслуги, что ва-а-а-бще, приговорили к бессмертию. Там какая-то очень сложная операция или что?.. Ну, я и подумал, а может я тоже, когда вырасту, окажу человечеству сильную, наисильнейшую услугу, ну просто такую услугу, что все офонареют. И приговорят меня к бессмертию, если техника к тому времени достигнет такого уровня. Тут я даже в мечте, без свидетелей скромно потупливался, мне как-то неловко было, что я оказался таким великим. Что все умрут, а я – нет.

Я, конечно, читал в «Путешествиях Гулливера» про какой-то народ или племя, которое обрело это самое бессмертие, но людям оно почему-то быстро осточернело, и они стали скучать и стосковались по смерти, не захотели жить вечно. Но фиг-то я поверил. Потом еще не хотелось отдавать свою жизнь за Ленина, потому что

он казался настолько серьезным и хорошим, что когда я думал, завидуя тем, кто видел Ленина, а вот вдруг бы он меня увидел, наверно сразу бы раскусил, что я не тот фрукт, который ему нужен. За очень хорошего должны отдавать свои жизни тоже очень-очень хорошие, а то получится совсем не Ленин, а Бог знает кто.

В общем, Смерть Ленина долго похаживала где-то совсем рядом, пока не встретилась с другой Великой Смертью – Смертью Сталина. Стуча костями, они обнялись, как хорошие подруги.

Смерть Сталина началась рано утром, когда еще не рассвело. Я проснулся оттого, что громко, не боясь нас разбудить, в голос рыдала мама. «И-и-и! – ревела она, – на кого же ты нас поки-и-нул. Да на Лаврентия Павловича надежда плоха-а-я. Он и сам-то уже ста-а-ренький. Вон как голос-то дрожа-а-л»...

Доставая до позвоночника, своим страшным заморильным голосом рассказывал Левитан про дыхание Чейн-Стокса. Говорили, что это дыхание даже передавали по радио, но я, как всегда, самое интересное прозевал. Страшно еще было оттого, что голос Левитана дрожал. Он не только не справлялся с волнением, но даже и не скрывал этого. До этого я никогда не слышал, чтобы дикторы показывали свои чувства, это было не принято. Но страшней волнения Левитана было это дыхание с таким необычным названием. Потому что, когда нам хорошо, наше дыхание никак не называется. Оказалось же еще хуже, оказалось, что дыхание было вчера, а сегодня уже и такого нет. Совсем умер.

В этот день я с удовольствием пошел в школу, только чтобы убежать подальше от той душераздирающей, как ее назвала мама, музыки, которую теперь все время передавали по радио. Мама объяснила, что это музыка из «Пиковой дамы». Сталин ее очень любил. Не даму, конечно. Провожая меня к двери, мама сказала убийственную фразу:

– Ну, все! Теперь америкашки на нас нападут. Они только Сталина и боялись. Пропали мы без Сталина, совсем пропали.

– А мы разве уже воюем с ними? – спросил я.

– Не волнуйся, они теперь в два счета развяжут войну. Ну, что ты скис? – сказала мама, увидев мое лицо. – Не волнуйся и не паникуй, имей в виду: мы никогда не были паникерами.

О, детство-детство! Как чудесна твоя гибкая восприимчивость, так легко перебегающая с предмета на предмет. Новое впечатление, как вода следы на песке, начисто смывает предыдущее. Первые же образы этого хмурого утра смыли напрочь тоску и уныние.

Впереди маячила чья-то знакомая фигура. Мы поравнялись.

– А, это ты? – спросил Смирнов. – Здоров!

– Привет! – сказал я, пытаюсь избежать его специфического рукопожатия. Но он уже протянул свою руку. Когда наши руки встретились, Смирнов средним пальцем пощекотал мою ладонь, таков уж был его обычай. При этом он примирительно подхихикнул, мол, не правда ли, это забавно?

– Слышал, что делается? – спросил он, наскоро изгоняя из своей интонации только что бывшее в ней несерьезное, – Сталин-то .., – и как бы от очень сильной досады тяжело вздохнул и прищелкнул языком.

– Слышал.

– Ну, и что ты думаешь?

– А что я думаю?

– Ну, как теперь, дальше-то что?

– Ну, думаю, америкашки теперь развяжут войну. Они уж давно хотят. Да Сталина боялись. Берия тоже никуда не годится, совсем старенький стал, – сказал я солидно и очень от себя, совершенно забыв, что это мамины слова.

– Иди ты! – воскликнул Смирнов. Он видно никак не ожидал от меня такого дельного прогноза. – Вот здорово! Слушай, у меня – план. Давай сбежим на войну? Только, чур, не протрепись. Железно?

– Железно-то, железно. А что, ты уже знаешь, где она будет? Куда бежать-то?

– Конечно дело, чужак-человек, – покровительственно сказал Смирнов. Ну, это, понимаешь, там, – он

неопределенно махнул рукой. -Там... Надо с пересадкой ехать. Сначала на метро, потом на троллейбусе, а потом... потом – на электричке. Там и война и все остальное...

Очевидно мой оголтелый пацифизм был написан на моем лице слишком крупными буквами, и Смирнов прочитал их.

– Ты что? забоялся? или не хочешь на войну? – чуть поддразнивая меня, спросил он.

– Почему не хочу, хочу. Даже очень. У меня уже и спички есть. Десять коробков.

В другой бы, более прозаический момент Смирнов от зависти, что у меня десять коробков спичек, сдох бы. Но он уже широко загулял.

– Дурак! Ты думаешь на войне без твоих спичек стрелять нечем? Там нам дадут самые настоящие пушки. Калибра семнадцатая– восемнадцатая. Здоровенные такие.

– Сам ты дурак, если не знаешь, что даже в разведку не ходят без спичек. Их еще специально воском заливают.

Опять разговор со Смирновым смутно встревожил меня. Что я в самом деле такое? За Ленина жизнь отдать не хочу, то есть хочу, но не очень. Теперь, если война с америкашками... На войну-то хочется, на войне ведь дико интересно, и поэтому очень хочется на войну. Но на взрослую, как в кино, страшновато. Вот если только организовать детскую, между советскими и американскими детьми, – слабо подумал я, пытаюсь спасти остатки своей чести...

В школе было темно и мрачно. Ребята ходили какие-то потерянные. Свет очень хмурого дня едва окрашивал школьные коридоры. Вдруг началось. Кто-то сказал первый: – Лучше бы я умер, – и пошло: – Лучше бы я, лучше бы я. На меня это подействовало, к тому же чувствуя свою еще ту, старую вину перед Лениным, я тоже сказал и раз, и другой «Лучше бы я». Но такая солидарность чувств не бывает слишком продолжительной. Произошло что-то новое. Вдруг кто-то спросил: – А ты отдал бы жизнь за Сталина? Только честно. – Ну. – Что

ну? Честное сталинское? – Честное. Это был совершенно стихийный, никем из взрослых неорганизованный и ненаправляемый взрыв чувств. И сначала желание отдать свою жизнь за вождя высказывалось свободно. Но потом кому-то пришло в голову как бы собрать подписи под этим горестным чувством, слегка организовать неорганизованное. А там и потребовать: – А ты бы отдал жизнь за товарища Сталина?

Больше всего мне досталось от Пантюшина. Пантюшин, что было очень неприятно, безжалостно договаривал свои мысли до самого конца:

– Глянец, ты отдал бы жизнь за товарища Сталина, чтобы он жил, а ты умер?

– Ну.

Не мог я почему-то, как другие, просто сказать «да», чтобы он отвалил. Хотя все это было не совсем всерьез, и никто реально не стоял по наши души где-нибудь в медпункте, держа в волосатых руках обнаженный скальпель.

– Нет, ты мне по-русски скажи: да или нет?

– Ну, конечно. – Мне в эту минуту почему-то втемяшилось в голову: черный с белым не носить, «да» и «нет» не говорить.

– Ты что, не можешь сказать простое русское слово да? – пер на меня Пантюшин.

– Почему не могу? Могу.

– Так да или нет?

– Могу я, могу сказать.

– Так скажи.

– Что тебе сказать? – Свой вопрос Пантюшин давно поставил и поставил его передо мной, и вдруг почему-то спрашивают его. Это его немного сбilo с толку, и не совсем уверенно он сказал:

– Не мне сказать, а товарищу Сталину.

– Ну ты, Пантюшин, даешь. Сталин же умер! Хочешь, открою стра-а-ашную тайну?

– Ну.

– Смирнов запишет добровольцев на войну с америкашками.

– Ты че, ваще дурак? – заорал Пантюшин благим

матом. Видимо, я был первым, кто сегодня из-под него вывернулся, из-под этого хладнокровного убийцы молочно-восковых деток. Я быстро прикинул в уме, – он бы сгодился на роль того дядяна с волосатыми руками. А, может, он расстроился из-за того, что идея записывать на войну, так неожиданно выскочившая словно из-под земли, была совсем-совсем свежей и сильно перекрывала теперь уже не новую идею отдания жизни за Сталина, практически хоронила ее?

Этот нескончаемый день с траурной линейкой в актовом зале, с неловкими взаимными расспросами ребят, от которых почему-то было стыдно: – А ты бы отдал свою жизнь за Сталина? – был настоящим бредом в моей жизни. Уже уходя из школы, я зачем-то завернул в медпункт. Открыв дверь, я увидел обычную Прасковью Дмитриевну за письменным столом, на своем обычном месте.

– Тебе чего? – спросила она.

– Сегодня прививок не будет? – нашелся я.

– Иди-иди, не будет.

Мне не хотелось домой, и весь остаток дня я провел во дворе.

А смерть Сталина вскоре упокоилась в нашем, уже описанном мною, дерматиновом диване. Туда мама сложила, очевидно, боясь их выбросить, все номера «Правды» с жирными траурными рамками. Со временем газеты желтели и становились на вид хрупкими. Постепенно желтела и переставала быть потрясающей новостью и сама смерть Сталина. Во всяком случае, мама, еще недавно благоговевшая перед ней, совершенно деловито и прозаически засыпала в диван, попадая временами и на неприкосновенные газеты, целую коробку ДДТ от клопов. Не очень-то доверяя этим подвижкам, я, на всякий случай, чрево дивана объявил для себя запретной зоной. Я никогда не дотрагивался до этих газет, я даже, если приходилось на них смотреть, бросал только косвенные неполные взгляды. Смерть казалась мне заразной, как болезнь. Но болезнь не такая, какой болеют в общем-то неплохие ребята, вроде меня, а такая, от которой развивается жуткое и таинственное дыхание

Чейн-Стокса. Удивлял меня папа. Казалось, он вовсе не боялся смерти. Во всяком случае, эти газеты в диване не производили на него никакого впечатления. По-прежнему, в левом углу дивана в старой, отслужившей свой век отпарке папа прятал (копил, собирал) деньги на летний отпуск для всех нас. Мы впервые собирались на море.

*4 марта 2001 г.*

## **КАК НАМ ПРЕВЗОЙТИ ЗИНГЕРА**

За столом мы мало разговаривали друг с другом. Папа о чем-то тяжело вздыхал, прихлопывая утюгом. Я все делал быстро, полагая, что с неприятным надо покончить как можно скорей. Делая уроки, надо начинать с самого сложного, оставляя простое на закуску. Если бы можно было умственную работу представить в виде физической, вы бы увидели меня в роли... какая там у нас работа самая такая? в виде шахтера, что ли. Танюшка вообще могла не вылезать из-за стола часов по пять, а если надо – и больше.

Неболтливость была и условием, и необходимой атмосферой труда. Молчаливо занятые каждый своим, мы не были разобщены разностью занятий. Наверно, чужак ничего не понял бы. Невидимо оплетала нас тихая, бессловесная приязнь. Я думаю, многим знакомы такие мирные вечера, исполненные неизъяснимой прелести. Незримо излучалась, воспринималась и ответно излучалась какая-то тихая и светлая волна. Ах, как я тогда всех и все любил! Папа про это говорил:

– Немного теплы. Что еще нужно?

Иногда, когда папа в легком подпитии, пытался сказать маме что-то приятное, она его обрывала всегда одними и теми же возмущенными словами:

– Не люблю я этих телячьих нежностей.

Посторонний подумал бы, что мама грубовата. Но она только не любила внешних демонстраций, полагая,

что все настоящее и искреннее – не болтливо. У нас как-то вообще не принято было обниматься, прижиматься, целоваться.

– Не люблю я этих фальшивых улыбочек и поцелуйчиков, – суровела мама. И мы вместе с ней тоже не любили этих поцелуйчиков и особенно улыбочек.

Сирота с двухлетнего возраста, она почти не помнила материнской ласки и нормального семейного уклада. Мама рассказывала, что в голодном 1919-м году в их детском доме ежедневно умирали девочки.

– Не выдержат голода, попьют этого голубоватого молочка и в тот же день умирают. Хорошо, старшая сестреночка Нюра все уже понимала.

– Раечка, не пей молочка, – бывало, предупреждает она меня.

– Так ведь, Нюсечка, хочется, – бывало, говорю ей.

– Все равно не пей! – строгая такая. Я ее слушалась, родная все-таки сестренка.

На кладбище умерших девочек отвозили в гробу. Они там и оставались, в месте своего навечного упокоения, а телега с гробом, зловеще громыхая, возвращалась назад. Гроб водворялся в сарайчик в ожидании следующей жатвы.

Я слушал в ужасе. Особенно ранил воображение этот жуткий, то и дело возвращающийся гроб.

Пытаясь как-то объяснить смерти невинных детей, мама под влиянием более поздних впечатлений формулировала:

– Безусловно, в детском доме орудовала банда матерых вредителей.

Неудивительно, что с юных лет у нее складывался суровый стиль. Без внешне переживательных излишеств. Но всякому – свое любо. Пока я не вошел в возраст подросткового кретинизма, я в своей маме не находил ни одного недостатка. А как она была красива! Стройная и свежая, обтянутая черным форменным платьем с серебряными капитанскими погонами, которое ей страшно шло. Глаза живые, зеленоватые и, когда улыбается, проявляются на щеках две фирменные ямочки.

Словно для иллюстрации того, как быстро достоин-

ства предков иссякают в нерадивых потомках, у сестренки тоже была ямочка, но одна.

– Что ты сегодня невесел? – спросила мама папу.

– Так, ничего, – кисло ответил папа.

– Я же вижу – что-то случилось. Рассказывай теперь, а то позже я уйду стирать.

– Ничего особенного. Так. Одна приносила журнал в закройную.

– Ничего не понимаю. Кто одна? Какой журнал?

– Кто одна? Жена, – папа любил, чтобы его распрашивали с пристрастием и потому специально не доведи-вал информацию.

– Ах, жена, – сказала мама угрожающе, – теперь я должна спросить: чья жена? Знаешь, лучше не тяни во-лынку, – закипая, сказала мама.

– Зое, не горячись! Обыкновенная жена. Супруга Тимошенко, начальника управления. Я что виноват, что она всегда с мужем приходит? Зашла к нам в закройную и показывает журнал. На новый сезон. И кто ты думаешь главный модельер?

– И кто же он?

– Зингер, чтоб я так сладко жил.

– Ну, я не знаю, – сказала мама все еще возмущенно. – Ты что, хочешь Зингера переплюнуть? А кишка у тебя не тонка будет против него? Я еще могла тебе помогать с чертежами, но рисовать за тебя, уволь, не смогу.

– Валерий мог бы? – уныло полуспросил папа.

– Нет, это не то. У Валерия какой-то саркастический стиль. И потом, как ты ему объяснишь? У тебя что, есть идеи новых фасонов?

– Почему нет? Есть нескольких крупных мыслей.

– Несколько, – автоматически поправила мама. – Может быть, попросить Володю? – сказала мама, показав глазами в сторону соседей.

Не помню, как это все обставилось, помню только, что в один прекрасный день на нашем столе появилось целых два, величиной в журнальный лист великолепных рисунка. На одном акварелью был изображен очень широкоплечий и длинноногий красавец в сером двубортном костюме тройкой. Таких уверенных и обаятельных

людей в жизни я еще не встречал. То есть встречал, но не настолько полно укомплектованных. Например, улыбка хорошая и сложение, но рост маленький. Или все при нем, но физиономия такая, что не дай Бог. Жилет на красавце тоже был хорошо виден потому, что он специально заложил большой палец правой руки за ремень брюк, сильно раздвинув полы пиджака, отчего по нему побежали во всех направлениях складки. Складки Володя изобразил просто мастерски. Что-что, а складки удались на славу. Немного в лице не хватало индивидуальности. Мама находила, что слишком тяжела нижняя челюсть. Валера сказал, что это так и надо, челюсть-то не просто челюсть, а голливудская. Я это очень хорошо запомнил потому, что не понял, что значит – голливудская? Второй рисунок нет нужды подробно описывать, потому что на нем был изображен тот же самый человек, только в зеленоватом костюме, причем левая штанина была закрашена только до колена, а ниже колена обозначена небрежной штриховкой.

– Как вы думаете, Зоя Никаноровна, – спросил Володя, немного актерствуя на фоне своих шедевров, – могут мне это зачесть в институте, как курсовую работу?

– Не знаю. Странно, что ты спрашиваешь. Ведь, насколько я понимаю, это не имеет отношения к искусству? – сказала мама с почти незаметным оттенком небрежения.

...Почему-то мама считала Володю бездарным. Может быть, это началось после того, как Володя написал портрет своего друга, студента журфака Славы П-ва. Портрет с неделю сох на кухне, на соседском холодильнике «Север», и я его весь досконально разглядел. Слава был очень похож.

– Вам не нравится, Зоя Никаноровна? – вежливо спрашивал Володя.

– Чему тут нравиться? – резко отвечала мама. – Уши оттопыренные. Мог бы ради друга и постараться.

– То есть нормальные ему что ли нарисовать?

– А хотя бы и нормальные.

– Но согласитесь, Зоя Никаноровна, это была бы с

моей стороны самая беспринципная комплиментарщина. Вы же, я знаю, против беспринципности, – с иронией, слегка заводясь, спросил Володя.

– Знаешь, не разводи демагогию. Ошиблась природа? Поправь природу, если ты настоящий художник, а не мазилка.

– Я и поправил. Вы разве не замечаете?

Володя тут был прав на сто процентов, и я был на его стороне. Действительно, ни грамма не отходя от сходства, он все-таки сделал Славу значительно благородней и привлекательней. Я бы даже сказал, что Володин Слава был красив, если, конечно, не мелочно понимать, что такое красота. Это и было для меня главной загадкой портрета.

– И к чему этот фон? – продолжала мама наводить критику. – Эта ядовитая зелень? Ну, скажи на милость, где ты такой цвет видел?

Опять я не был согласен с мамой. Как раз этот ядовитый тон был очень хорош! Он нравился именно тем, что такого оттенка природа не вырабатывает. Это уже была находка, маленькое открытие художника. Портрет в целом, чего, видно, маме с ее несколько архаическим вкусом было не дано понять, был очень современным, я это просто печенкой чувствовал. Когда это остро современное где-нибудь проявлялось, неважно в чем – в новой форме газетного киоска со стеклянными, слегка скошенными стенками, или в виде нового логотипа театра Маяковского – с изумительно современным графическим портретом поэта, – я приходил в восторг. Это же был еще один удар по старью!..

– Не знаю. Странно, что ты спрашиваешь. Ведь, насколько я понимаю, это не имеет отношения к искусству? – сказала мама с почти незаметным оттенком пренебрежения.

– А я по специальности, как раз прикладник, – сказал он. Прикладник, прикладник, – подумал я, – что это еще за такое?

Я заметил, что Володя с мамой немного важничали вокруг этих двух рисунков, и только папа не критично и нетрезво сиял.

– Я думаю, мой маленький журнал, – папа посмотрел на Володю и поправился, – наш маленький журнал будет для господина Зингера большой неприятностью. А? А? Вы слышали этого бесподобного юмора? – захотел папа, словно изумленный способности слов самостоятельно образовывать неожиданные даже для говорящего смыслы.

– Нет, ха-ха-ха, – задышался от смеха папа, – журнал маленький, ха-ха-ха, а неприятность от него большая. Затем, вытирая глаза, из которых еще не ушел смех, заметил: – Если бы не война, я бы уже давно имел собственное дело, – папа как бы в недоумении, почему у него еще до сих пор нет своего дела, высоко поднял брови. Это был обычный папин стандарт. Мамин ответ, не менее предсказуемый, не замедлил:

– Слушать противно твои мелкобуржуазные бредни!

Я давно заметил, что в обязательных препирательствах папы с мамой было что-то от пинг-понга. Папа подает идеологически крученую подачу – мама отбивает, раскручивая (разоблачая) содержащуюся в ней порчу. Нейтрализация идеологического яда, пролитого в присутствии детей.

– Румочку хочешь? – спросил папа Володю. Интересно, что свое «хочешь» папа всегда словно выпевал на какой-то очень сложный восточный мотив.

Когда-то мне хотелось, чтобы папа говорил как все москвичи, не выделялся. Время шло, и свое «хочешь?» папа напевал на все более простые мотивы, пока не стал говорить почти как все. Что-то пусть не самое важное, но очень своеобразное и симпатичное ушло из жизни, и оказалось, что эта скромная краска ничем другим незаменима, а на ее месте образовалась маленькая пустота. Нет, слава Богу, пока еще сильна пестрота и разнообразие, еще многими оттенками красок и неповторимых звуков играет восточный базар жизни, но уже то там, то здесь образуются эти маленькие прорехи и ничем незаполняемые пустоты и трещинки. Уже приезжающий в Москву через год упорной работы над своей речью изгоняет из нее все неповторимые ароматы своей малой родины. Речь упрощается, усредняется, приезжий теря-

ет свое неповторимое лицо, и попробуй не потеряй его, тотчас серая посредственность завопит: – Он оскорбляет наше демократическое право чувствовать себя сельдями из одной бочки! Он слишком ярок, слишком выпирает. Рядом с ним мы какие-то жалкие и ощипанные.

Не терпит посредственность ничего своеобразного и переделывает мир на свой серый аршин. Права человека, священное право быть серым...

– Вы же знаете, Михал Ефимыч, у меня язва, – мягко отнекивался Володя.

– Иногда немножко можно и при язве, – сказал папа, сильно соблазняя Володю всем возможным обаянием. В лице появилась сложная гримаса приязни и сочувствия. Глаза сияли особенной лаской, но ум в глазах, как говаривала мама – тонкий ценитель актерской школы Малого Театра, – был напускной.

– Много нельзя, – ложно соглашался папа, – ожога будет, но румочку можно. Нет, – папа сделал лицом выражение, что ему очень противно. – Была бы это дрянь – я бы не стал спорить. Зое! – позвал папа, повернувшись в сторону, где по его предположению должна была находиться, но не находилась мама. Это было самое обычное папино. Когда оба родителя были дома, то и дело раздавались его призывы: – Зое! Ты не видела шпудьку? Или: – Зое! Ты не встречала, вот здесь лежала, тесьму? Или: – Зое! Где тот кусочек газеты, который я принес утром из уборной?

Предполагаю, что это была какая-то нерушимая норма его прошлого кишиневского быта.

– Подумать только! – продолжал папа, вглядываясь в этикетку на бутылке и словно пытаясь в ней вычитать ответ на свое недоумение. – Он не хочет этого бесподобного коньяка! Это же молдавский коньяк «Дойна», – сказал папа Володе, сильно подчеркнув голосом слово «молдавский», притом, чуть ли не в значении – «еврейский». – Э-э-эх, – укоризненно сказал папа и покачал Володе головой, как не разумному. – Я думал, ты хоть капельку аид.

– Ну, не агой же, – улыбнувшись сказал Володя. – В другой раз, Михал Ефимыч, обязательно! Он с достоинством удалился.

Дело закончилось ничем. Вскоре после первого успеха (два рисунка) Володя надолго увяз в зачетах и экзаменах, а там подоспело лето, а осенью о журнале уже не вспоминали. Но рисунки сослужили свою службу. По какой-то случайной рекомендации попавшему к папе журналисту, он во время примерки показал рисунки со словами:

– Думаю о собственном журнале. Есть нескольких крупных мыслей. Ведь я – из Румынии. Между прочим, владею западным кроем. Знаю крой румынский, теперь – английский, и... чехословацкий. Лично для вас могу выкроить по единой координатной системе, но я вам рекомендую английский крой, – говорил папа исключительно авторитетным тоном.

Журналист привел за собой другого, тот – третьего. Так у папы сложилась собственная, весьма приличная и, что важно, денежная клиентура – советские журналисты, которые все до одного хотели шить у западного закройщика. Но их гнилушечную сущность не смогла разоблачить даже мама. Нет, что-то она безошибочным классовым чутьем чувствовала, но все же и она купилась на подчеркнуто уважительное отношение к «дорогому Михал Ефимычу». Мама! Мама! Ты всегда точно различала наигранные чувства, но ведь и вежливость бывает наигранной. И даже издевательской.

– Да, – несколько преодолевая самое себя, говорила мама, – это уж клиенты, как следует, не то что какая-нибудь хамка Галкина из овощного.

Папа попал в закрытое ателье МПС в 1943 году прямо с колес. – Портные, сапожники есть? – спросил, заглянув в вагон, человек в шинели. Этот вопрос решил папину судьбу. Но в закрытом ателье МПС шилась только полувоенная железнодорожная форма: те еще, сталинские френчи с двумя накладными карманами на груди и закрывавшими их клапанами в форме фигурной скобки; еще шились шинели, мундиры. Свои довоенные портновские навыки в деле построения гражданской одежды папе пришлось проявлять только в левых заказах. Он вовремя закончил закройщицкие курсы, здесь неоценима была помощь мамы. Два альбома выкроек, прекрас-

но выполненных в туши, считались на папиных курсах образцовыми.

У папиной мамы, моей никогда невиданной мной бабушки, было собственное «дело» в довоенном Кишиневе. Как говорил папа, «дело» бабушки было, если и не убыточным, то и не прибыльным. Бабушка была слаба в счете и то и дело обсчитывалась в пользу собственных работниц. Я иногда думаю, может быть, она была просто очень добрая? и, сочувствуя несчастным бесприданницам, помогала им обзаводиться?

– И сколько же работниц у вас было? – спрашивал я.

– У мамы восемь, – отвечал папа.

– И все они шили у вас дома?

– Странный вопрос. А где же?

– У вас что же, было восемь машинок? – спрашивал я.

– Зачем восемь. Две. Только две.

– Как же они шили? на двух?

– По очереди, сынок. В портновском деле много операций.

– А ты сказал, что у мамы работниц было восемь.

– Да, я сказал: у мамы восемь.

– Значит, были еще?

– Были еще. У папы было свое «дело», – тут я присвистнул: никак не ожидал от своих неведомых предков такой деловой активности.

– А на чем же он шил со своими мастерами?

– На этих же машинках, только по вечерам, иногда и ночью, – сказал папа, одновременно быстро и ловко выдергивая иголкой наметку.

– А дедушка был грамотный?

– Он учился.

– Почему же он тогда не мог помочь бабушке считать?

– Зое! Ты слышала? Я говорил, что это будет не ребенок, а что-нибудь особенного. Он уже думает, как помочь своей покойной бабушке, чтобы она не банкротила.

Мама, конечно, все слышала, но до поры не вмешивалась в нашу беседу. Иногда только, если этого требовали обстоятельства, она говорила:

– Не надо морочить ребенку голову. Или более пространно: – Прошу, не морочь Вовке голову якобы преимуществами капитализма.

Для мамы это был сложный случай. Налицо вроде бы были эксплуататоры (бабушка и дедушка) и эксплуатируемые (восемь работниц, работавших только на папину маму). Не подлежал сомнению и факт эксплуатации, но вот беда, никак не прослеживались плоды эксплуатации – сверхприбыли. Не было иногда и просто прибылей, зато очевидны были тяжелые убытки.

– Жили очень бедно, – говорил папа. – У нас с сестренкой не было никаких игрушек, коньков, велосипеда. Спортом не занимались. Мама хотела дать мне образование, а-а-а, чтоб я так счастлив был, но после пятого класса меня исключили из румынской гимназии – не было гельд.

– И ты так ничего и не закончил?

– Почему? Закончил. Я закончил восьмилетний хедер. И что характерно, за шесть лет. Способности были.

– А в румынской гимназии как же ты учился, ты что, знал румынский язык?

– Твой батька знает шести языков, – он начинал загибать пальцы, – идиш, иврит, молдавский, румынский, русский и туркменский.

– Не морочь ребенку голову, – говорила мама в том смысле, что не может малограмотный человек владеть шестью языками.

Почему же папа продолжал мечтать о своем «деле» после таких неудач бабушкиного? Думаю, потому, что у него была моя мама. Если она смогла сделать такие великолепные чертежи, за что на его курсах все похвалы пришлось проглотить папе, то она смогла бы стать и хорошим бухгалтером нового «дела».

Женщина, хоть и русская, но нечего зря говорить, – грамотная.

## МОНАХ

Уже с самого утра Монах почувствовал беспокойство. Его обычно неторопливые хозяева засуетились что-то, засобирались. Спокойная жизнь с двумя кормежками закончилась еще раньше – с исчезновением дней за пять до этого Рыжего. На его, Монаха, веку всякое бывало: сначала, года четыре назад, исчезла младшая мама, а через год – и старшая. Он так и не понял, куда они подевались. А последние три года они жили вдвоем с Рыжим, если не считать хозяев. Теперь вот и Рыжий запропал. Не сказать, чтобы Монах трусливо отмалчивался и не ставил перед своими господами вопроса о Рыжем. Он задавал его и день и ночь: «где он, куда вы подевали моего папу?» На что обыкновенно получал от Самого старым шлепанцем. Кое-что у Монаха и раньше уже отложилось в памяти на Самого, а новые сведения продолжали поступать и откладываться. Все это требовало времени и серьезного обдумывания. Но для начала следовало признать, что и у таких людей бывают достоинства. Монах признавал, например, у Самого его очень умную и ловкую правую руку. А все эти выкрики Самого, типа того, что с годами из Монаха вырастет настоящий Артист, потому, де, что против факта способностей не попрешь, или еще короче: «Немедленно к Куклачеву!», – все это, так обнадеживавшее вначале, принесло одни разочарования.

Хозяйка была основательней Самого, надежней, но и ее приходилось сторожить день и ночь. Стражу эту когда-то, еще в незапамятные времена, придумал Рыжий. Как только свет гасили, Он укладывался у Самого в ногах, так он когда-то раз и навсегда решил. Монаху же досталась гладкая, всегда хорошо пахнущая голова. Слегка пародировав черную котиковую шапку, Монах выглядел никак не слабее ее. Служить человеку – это и было ее, шапкино назначение, своей собственной нужды садиться кому-то на голову она не имела. Монах же был напрямую заинтересован Саму не упустить. Два стража – в головах и в ногах – так было надежней. В рассуждении здорового крепкого сна это не очень удобно, но ведь выспаться

можно и потом – на вешалке, а кормежку пропускать не резон. И без того Сами не очень пунктуальны, и сколько уж лет не могут отвести строго определенного времени для кормления. Они, шут их знает, когда и сами-то кормятся. Но что интересно, едят что-то совсем другое и всегда разное. Это неприятно и вызывает естественную брезгливость, как и любая нестабильность, вечно ведущая к анархии. Взять хотя бы такой вопрос, куда они каждое утро сломя голову убегают? Вот он, например, Монах, благодаря Бога, уже целых семь лет живет на этом свете, и что же? Хоть раз выходил он за порог? То есть выходил конечно, но только до лифта, когда уж очень ждал возвращения Самой. Нет, тревожно все это, все эти их нынешние хлопоты. Как бы не завезли куда-нибудь, откуда и дороги обратной нет. Вселенная ведь устроена вполне разумно и просто: большая комната и маленькая, кухня и балкон. А что там за границами этого замечательного мира, того и знать не хотелось. А то еще свихнешься и станешь говорить такие же глупости, как Сам после шестой бутылки «Старого мельника». Когда-то, во дни своей юности был Монах игрив и резов и носился по квартире, пока язык не вывалится.

Было у Монаха и вполне официальное имя, которым его нарекли при рождении. Но сплошь черный, без единого просвета, окрас и как-то вдруг открывшееся пристрастие к лампадному маслу (Сама доглядела) навели на имя Монах. Потому и еще, что в свои семь лет он ни разу не испытал настоящей нежности к какой-нибудь хвостатой симпатяге. Скажем прямой. Он даже не догадывался об их существовании и потому жил, дышал и возрастал, словно наперекор взбесившемуся именно на этом пункте миру в совершеннейшем целомудрии.

Наконец, закончив сборы, Сам изловил Монаха и посадил его в новую пластмассовую клетку. Тот хотел возразить: «вот еще новости!» и вырваться, но сверху опустилась крышка и серьезно щелкнула щеколда. Кот пробовал жаловаться самым детским, самым берущим за душу голосом, но тщетно. Клетку с сидящим в ней Монахом вынесли на лестничную площадку. «Нет, точно завезут» – с большой жалостью к себе подумало живот-

ное. «Завезут и бросят». Самое страшное, что на вопрос «куда?» у Монаха не было никакого ответа, потому что не было никакого представления о какой-либо другой реальности. Куда? – это пропасть, неизвестная жуть, место гибели.

Было с чего загрузить. Когда этому симпатяге, этому, как когда-то выразился о нем Сам, *выставочному* коту было всего полгода, произошло ужасное. К Самому приехал очень большой и шумный человек и прямо-таки варварски грубо покидал в огромный черный мешок пятерых братьев и сестер Монаха. Того спасла только необыкновенная в его возрасте сообразительность. Он спрятался за холодильник ровно посередине его задней стенки, так что ни слева, ни справа его никак нельзя было достать. «А, хрен с ним!» – сказал, тяжело отдуваясь, большой человек и уехал на лифте вниз. Он ухнул вниз с ужасным, кошмарным мешком, откуда доносились такие душераздирающие «мяу!», что впору было заводить международный скандал – дело о киднепинге или... чего уж там мелочиться – о геноциде кошачьего племени. С той поры у Монаха вошло в обычай при появлении в доме любого незнакомца прятаться на антресоль или куда подальше, понадежней.

Иной истории, кроме этой трагической, Монах не имел, и потому приготовился насмерть стать за свои права, орать во все горло и что есть мочи и изо всех сил.

В давние годы, если верить Самому, жил где-то в германских землях ученый кот Мурр. Он тем и славен был, что, несколько зная грамоте, написал свои «Ученые записки». Но ведь не изобрел же отдельную котячью иероглифику, нет, подлец, писал вполне по-человечьи, немного, правда, путаясь в артиклях. Ну, и почерк подгадил, отдавал чем-то, знаете ли, этаким... Сразу видно – не человек писал. Так вот он-то, этот самый Мурр, как кот ученый, может быть, и мог бы составить нужную бумагу, скажем, в «Интернешнл-Эмнисти» или там в какой-нибудь эдакий, Гаагский, простите, трибунал. Что-нибудь в этом роде. Его, кота Мурра, разящее перо и его, пера, язвящее жало, может быть, и смогло бы начертать или оттиснуть те кровавые письма теми

кровавыми чернилами, которыми уже захлебывалось буквально и дословно хвостатое племя. Может быть, и смогло бы. А, впрочем, надежды мало. Это уж обычное дело – стоит им только выучиться и чуть-чуть приподняться, как они тотчас же забывают, откуда и зачем вышли, кому обещались служить до последнего дыхания и, нисколько не смущаясь, в ту же минуту переходят на службу правящему классу. «Ведь я этого достоин!»

Однако столь испугавшее Монаха падение в лифте оказалось просто микроскопической кучкой воробьиного дерьма, не больше, в сравнении с железным лязгом и грохотом электрички. «Неужели стучать и лягать – это надолго?» – в ужасе думал Монах. Эта мысль толкнула другую, еще более страшную: «А может быть, еще хуже? Может быть, отныне это вообще наш новый дом? Но какой странный! Никак не угадаешь, где тут кухня, где холодильник?»

Сам щелкнул щеколдой и, прихватив кота своей умной правой рукой, приподнял его к окну, утешая и одновременно показывая, где они и что происходит. Но за окном так мелькало и несло, как никогда в длинной монаховой жизни. Очень скоро разбирать натиск всех этих новых образов не стало никаких сил. Спасая разум, котик задремал.

И как же хорошо сделал! За то время, что он, накрыв голову лапой, спал, Сам, приняв не то семь, не то восемь бутылок «Велкопоповицкого козела», вышел покурить в тамбур. Обычное дело. Но там, чего котик не видел, к нему жестко приклеился какой-то очень неприятный тип. Приклеился, пристал, прилип, как банный лист, со своими все понимающими улыбочками и ядовитым осклабом. Вдруг котик проснулся в большой тревоге и огляделся. Сама дремала на скамейке напротив, но Самого не было. Монах, легко подняв головой плохо закрытую крышку, освободился из клетки и грациозно-бесшумно прошествовал в тамбур. Увидев Самого, он стал привычно завивать вокруг его ног восьмерки, и невольно стал свидетелем разговора.

– Чего ты до меня доскребся? – спросил Сам, и, слов-

но отзываясь на угрозу в его голосе, где-то в глубине вагона заплакал грудной ребенок.

– А ты еще не понял? Это русская электричка, а в ней ты единственный, – ядовитый недобро усмехнулся, – с такой формой носа.

– А что-нибудь не так с нашим носом? – Сам потрогал свой нос, как бы проверяя его форму.

– Ты – один не русский в русской электричке.

– А-а-а, теперь понял, ты – что-то вроде эксперта? Так?

– Ты правильно понял.

– Я все могу понять кроме одного, – как бы задумчиво, почти мечтательно сказал Сам, – как там у вас на роль экспертов в такой деликатной области берут людей... вроде тебя?

Хорошо зная Самого, Монах сразу почувствовал в этих словах какой-то подвох. Монах, но не его собеседник.

– Что же здесь странного?

– Видишь ли, для стопроцентного славянина у тебя слишком вросшие мочки ушей.

Монах, вообще-то неплохо понимавший человеческую речь, пока не понимал ничего кроме гаденьких интонаций с обеих сторон. Но шерсть на нем по инстинкту начала ерошиться. Две-три искры с треском слетели со шкуры. Парень был нахрапист, но вдвое моложе Самого. Он еще не родился, когда лет сорок назад, а, может, и больше, с самого-самого верха пошел этот едкий дым.

– Сильно-больно умный? По роже захотел? – спросил, ядовито осклабясь, тот тип. Хотя это была только запоздалая реакция на вросшие мочки, Монах понял фразу как объявление войны и вдруг заорал на парня таким грозным голосом, какого Сам никогда у него не слышал. Так ночью во дворе орут друг на друга битые с рваными ушами бойцы.

– Останови своего, чего он орет! – немного струхнул парень.

– Порода такая. Кот черный, московский, сторожевой. В данном случае защищает хозяина, – сказал Сам

и продолжил, – а вот чего действительно очень хочется, так это пос...ть.

– Вот так все вы юлите и хитрожопите.

– Ну, это ты зря. После пива сильное желание опраться, я бы сказал, при – ссуще человеку. А потом кто эти, как ты говоришь, *все вы*?

– Я, по-моему, отчетливо сказал, кто эти все вы.

– Скажи, я правильно понимаю, что ты испытываешь неприязнь к инородцам определенной национальности?

– Чего ты дурака валяешь? Я же сказал, какой национальности.

– Но обыкновенная политкорректность не позволяет...

– Брось! Мы здесь в тамбуре, а не в телевизоре.

– Это – как посмотреть... Буквально еще несколько минут назад мы действительно были в тамбуре, но сейчас это уже не тамбур, а страница моего рассказа. И здесь не металл под нами лязгает и грохочет, а только слова об этом.

– Что? Может быть, я уже и в рожу тебе не могу дать?

– Исключено. Ни один редактор не пропустит.

– Ну, вы ловко устроились...

– Мы-то устроились, а ты-то, ты-то знаешь, для чего пиво пьют? Чтобы по-бла-го-душествовать. Но с тобой не закайфуешь.

– Так ты что, пьющее лицо определенной национальности? Не смехи. Они же не пьют, – сказал он с гордостью за себя. Ему понравилось, что эти с ним никогда не закайфуют.

– Почему ж? Я с пяток лет ехал на такой русской электричке, на какой ты со своими мочками вряд ли катался. Станколит называется. Там научат.

– Догадываюсь, кем ты там был, снабженцем, наверно...

– Не угадал – станочником. На Станколите было всего два лица такой национальности – начальник финансово-сбытового отдела, что как бы естественно, и я – фрезеровщик.

– Рассказать своим – не поверят, что я попал в такую

переделку, или, как ты говоришь, в рассказ. А этот? – показал он глазами на кота.

– И этот из рассказа. Точнее даже так, рассказ-то не о нас с тобой, а о нем.

– Опять обычные ваши увертки, – сказал парень. – Короче так, – он поплевал на свою сигаретку, – молись своему Богу определенной национальности, что я тут схожу и заодно навсегда выхожу из твоего поганого рассказа. Догадываюсь, как ты все это подашь. Тут вы – умельцы. – И он мужественно сжал губы, давая понять об окончании разговора, чтобы и тень подозрения о возможном между ними компромиссе к нему не пристала. Может быть, вспомнились в этот момент товарищи по борьбе?..

А Сам погладил кота и сказал:

– Хвалю! Ты мне очень помог.

Да-а-а! Если бы Черный, то бишь Монах, весь этот бредовый разговор мог уразуметь, – а коты надо, пора это признать, не просто сообразительны, а прямо умны и даже глубокомысленны, – то, возможно, он и прозрел бы тянущийся за Самим шлейф, да что там шлейф, целую тяжело груженную арбу вечной гонимости, ровно бы тот был не больше не меньше, чем и сам Монах – всегда, вечно подозреваемый во всех тяжких черный кот. Не более черного кота.

Откуда, спрошу, у обоих эта горькая складка ума, эти горестно тяжелые веки (поднимите, поднимите мне их!), эта вечная во взгляде и нерастворимая никакими, даже и самыми лучшими сортами пива печаль? А «Хольстен» пробовали? Неужели даже «Хайнекен» бессилен? Пожалуй, что так. Горечь горечью не зальешь. Как сказал поэт:

*Пиво горькое на солоде  
Затопило мой покой.  
Все хорошие, веселые,  
Один я – плохой...*

Скоро ли сказка сказывается, не знаем, но только в конце концов перестало лязгать и мелькать, и все пасса-

жиры благополучно до чего-то доехали: и Монах, и Сам, и Сама. И сразу пересели с гремящего на шуршащий. Эта поездка была значительно тише и приятней. И приятней еще тем, что по сегодняшним меркам быстро закончилась. Оставалось только немного пройтись. В незнакомом дворе, где его сразу же выпустили, Монаха ожидала приятная неожиданность – кто-то очень знакомый, едва ли не оплаканный уже им его рыжий Папа? Но в этом еще не было полной уверенности, пока тот, подойдя, не начал привычно облизывать Монаха, как бы прописывая его по новому месту жительства.

Однако монахова рана была не наружной, а внутренней. И битый месяц он шершаво страдал и притирался, и, как рассказывают, не всегда был адекватен, и жил на чердаке, и всего и вся пугался. Пока не подружился с совсем юным и маленьким, но страшно опытным Белым, с тяжело провисающим от вечного обжорства, а может быть, и рахита, – животом. Но таким веселым, стремительным, снующим. И Белый, как вполне бездомный, и никаким воспитанием неискалеченный, к счастью, совершенно ничего не знал о том, что черные – какие-то не такие, что черных следует избегать. Если конечно не хочешь себе несчастья. И по этой ли, по другой ли какой причине Белый постепенно сблизился и подружился с Черным. То-то они напрыгались и набегались по дорожкам запущенного сада. И Черный не сразу, конечно, но перестал удивляться тому, что устройство Вселенной противоречивей, сложнее его ранних, теперь с высоты опыта, таких смешных представлений. И перестал удивляться тому, что на этой, не такой уж маленькой Земле, есть странные места, где зелень растет не в горшках, а прямо из пола. И тому – что Сама этих полов никогда не моет, как дома, а моют их теплые дожди и ливни. А яблоки по ночам падают и падают в траву и на дорожки сада и на тебя и преобильно бьют иногда по темени. Тому, наконец, что его кормилица Сама – это сама доброта, а Сам – абсолютно непьющий и вполне терпимый мужик. Целый день, не разгибаясь, сидит на лавочке и обрабатывает яблоки. Не сразу, ох, не сразу, но пошло дело, вошло в колею. С умилением взирал Сам, как Мо-

нах, обратившись мордой к иконам, смиренно выслушивает утренние молитвы. «Они закона Божьего никогда не нарушают, не то что мы, – еретичествовал Сам в своей душе, – кому бы и спастись и спастись, как не им? «В дому моем обителей много», – говорит и Господь».

Глядя на скачки и пробежки Белого и Черного, Сам иногда говорил, со свойственным ему несколько неуклюжим юмором: «Вот вам прекрасная и полная иллюстрация к стихотворению Маяковского «Блэк энд Уайт».

В целом же, глядя на него, Черный мог бы заключить, если бы оставалось на то время: Сам спокоен и счастлив, что живет в самом сердце русской глубинки, в стороне от больших дорог, и вокруг – хорошие все, русские люди. Определенной национальности. Те самые, что никогда ни словом, ни взглядом не оцарапали его: не свой, мол, ты брат.

Более или менее приличные мысли приходили в голову Самому между двумя затылками. Так он и подумал однажды о котях: «Почему они так скоро сдружились? Происхождение, возраст и опыт – совершенно разные. Но должны были сойтись и сошлись. Альбинос и Черный всегда сойдутся, потому что Черный – то же выпадение из нормы, что и Белый, так сказать, негатив белой вороны. И, может быть, та же ворона, что и я сам».

*Таруса, 05.03.09*

## ОТЗЫВЫ НА КНИГУ ВЛАДИМИРА ГЛЯНЦА «ГОГОЛЬ И АПОКАЛИПСИС»:

Редактор книги: *Странная тема. Да-м. И странный выбор. С такими, как у нас с Вами фамилиями, я бы никогда не взялся писать о русском классике.*

Знакомый поэт, слегка полистав мой труд, так реагировал:

*– Послушай, конечно, я ее не читал, да и вряд ли когда прочитаю, но уважаю, уже за то, что ты, практически пердячим паром, это дело осилил и довел до издания. Я смотрел именно указатель и вижу, что книжка трудовая.*

Автор, слегка обидевшись, спросил: «Что значит п... п...?»

*– Ты неправильно понял. Ну вот пуля уже на излете, и вдруг, понимаешь?..*

Читательница (сообщила продавщица в церковной книжной лавке) так рекомендовала книгу своей подружке:

*– Обрати внимание на эту книжку. Потрясающая!.. Но мне, лично мне, понимаешь, – такой Гоголь не нужен!*

Заведующий редакционно-издательским отделом Троице-Сергиевой Лавры – архимандрит Алипий сказал автору:

*– Не ожидал, что в наши дни кто-то может так глубоко задуматься и так копнуть.*

Автор спросил:

*– Батюшка, а вы сами читали, или секретарю давали?*

*– Сам, потому и удивлен...*

Художественный руководитель духовного русского театра «Глас» Никита Астахов: В сентябре 2004 г. мне (В. Г.) позвонила издатель и спросила, может ли она дать мои координаты художественному руководителю театра «Глас» Никите Астахову. В. Г.: – «Разумеется, Ольга Бо-

рисовна». Через какое-то время он позвонил и пригласил к себе, в Театр. Никита Астахов: *Знаете, мы с Вами разными путями, я – скорей интуитивно, Вы – более рационально и доказательно, пришли в общем-то к очень похожим выводам. Книгу я купил еще весной, но занят был, не мог сразу прочесть. А летом, на свободе внимательно прочитал. Гоголь – основа нашего репертуара. Посмотрите нашего «Ревизора», и Вы сразу поймете, что это и наш любимый автор. Признаюсь, после Вашей книги мне пришлось внести изменения в две сцены. Да вы сами увидите.*

Не отмолчался и мир строгой науки. В телефонной беседе со мной Сергей Георгиевич Бочаров сказал: *Книгу я прочитал. Честно говоря, не совсем понятно, почему она до сих пор остается в тени.*

Из Протокола межотдельского заседания от 1 июня 2004 г. (ИМЛИ им. Горького). Участвовали сотрудники отдела теории, отдела новейшей русской литературы. Повестка дня: обсуждение теоретических вопросов, связанных с биографическими исследованиями, книги и доклада Н. Я. Петракова «Последняя игра Александра Пушкина».

Е. Г. Местергази: *Книга (акад. Петракова – В. Г.) достаточно убедительна, и сведения трудно опровергнуть. Гипотеза достойна любовью и почтением к Пушкину, тем, что она выстроена в защиту его чести, и честь стала главным концептом. <...> Книга Владимира Глянца «Гоголь и апокалипсис» сопоставима с обсуждаемой книгой по уменью потрясать читателя без всяких сенсаций и эмоций, благодаря пронизательному пониманию самой писательской работы. Явление этих открытий нового типа благодатно для нас, ибо они имеют значение для общей методологии гуманитарных наук, и это уже не маргинальное явление.*

Но едва ли не самым значительным для автора отзывом, и уж во всяком случае, самым драгоценным, стал отзыв простого читателя Яны Ивченко. Через «инет»

девушка напрямую обратилась к автору: *Огромное Вам спасибо за книгу о Гоголе, которая перевернула все мои представления об этом человеке и писателе. Я съездила в Васильевку, побывала в Диканьке, и соотносила все свои впечатления с Вашим видением. Это потрясает!!! Огромная колоссальная работа Ваша внушает большое уважение.*

## СОДЕРЖАНИЕ

### ***На выдохе абзаца.***

<i>Предисловие Дмитрия Цесельчука</i> .....	3
Стихи разных лет .....	5
<i>Дождь-жеребец, поэма</i> .....	51
<i>Дыхание Чейн-Стокса, рассказ</i> .....	56
<i>Как нам превзойти Зингера, рассказ</i> .....	63
<i>Монах, рассказ</i> .....	73
<i>Отзывы на книгу Владимира Глянца</i> <i>«Гоголь и апокалипсис»</i> .....	82

ДЛЯ ЗАМЕТОК



СОЮЗ ЛИТЕРАТОРОВ РОССИИ  
Библиотека альманаха “СЛОВЕСНОСТЬ”

**ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ГЛЯНЦ**  
**Чтиво для электрички (1967-2009)**

*Стихи, проза, отзывы на книгу Владимира Глянца  
«Гоголь и апокалипсис»*

*Книжная серия «Визитная карточка литератора»*

Редактор — Евгений Степанов  
Верстка — Марина Кива  
Корректурa авторская

Бумага офсетная  
Гарнитура Calibri  
Тираж 100 экземпляров.  
Сдано в набор 20.05.2011  
Подписано в печать 04.06.2011

Издательство и типография  
«Вест-Консалтинг»  
109378, г. Москва, Есенинский бульвар,  
д. 1/26, корп. 1, офис 34.  
Тел. (495) 978 62 75